



# 10 ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (часть 3)

## Оглавление

Ф.М. Достоевский «Мальчик у Христа на елке» .....	1
Людмила Петрушевская «Страна» .....	4
В. П. НЕКРАСОВ «ВАСЯ КОНАКОВ» .....	5
Джек Лондон «ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ» .....	8
Татьяна Краснова «Приоткрыть окно» .....	19
Распутин Валентин «Век живи - век люби» .....	46
Даниил Гранин «Милосердие» .....	65
Эрик-Эмманюэль Шмитт «Оскар и Розовая дама» .....	71
Александр Грин «Победитель» .....	96
Успенский Глеб «Выпрямила» .....	99

## Ф.М. Достоевский «Мальчик у Христа на елке»

### МАЛЬЧИК С РУЧКОЙ

Дети странный народ, они снятся и мерещатся. Перед елкой и в самую елку перед рождеством я все встречал на улице, на известном углу, одного мальчишку, никак не более как лет семи. В страшный мороз он был одет почти по-летнему, но шея у него была обвязана каким-то старьем, -- значит его все же кто-то снаряжал, посылая. Он ходил "с ручкой"; это технический термин, значит -- просить милостыню. Термин выдумали сами эти мальчики. Таких, как он, множество, они вертятся на вашей дороге и завывают что-то заученное; но этот не завывал и говорил как-то невинно и непривычно и доверчиво смотрел мне в глаза, -- стало быть, лишь начинал профессию. На расспросы мои он сообщил, что у него сестра, сидит без работы, больная; может, и правда, но только я узнал потом, что этих мальчишек тьма-тьмущая: их высылают "с ручкой" хотя бы в самый страшный мороз, и если ничего не наберут, то наверно их ждут побои. Набрав копеек, мальчик возвращается с красными, окоченевшими руками в какой-нибудь подвал, где



пьянствует какая-нибудь шайка халатников, из тех самых, которые, "забастовав на фабрике под воскресенье в субботу, возвращаются вновь на работу не ранее как в среду вечером". Там, в подвалах, пьянствуют с ними их голодные и битые жены, тут же пищат голодные грудные их дети. Водка, и грязь, и разврат, а главное, водка. С набранными копейками мальчишку тотчас же посылают в кабак, и он приносит еще вина. В забаву и ему иногда нальют в рот косушку и хохочут, когда он, с пресекавшимся дыханием, упадет чуть не без памяти на пол,

...и в рот мне водку скверную  
Безжалостно вливал...

Когда он подрастет, его поскорее сбывают куда-нибудь на фабрику, но все, что он заработает, он опять обязан приносить к халатникам, а те опять пропивают. Но уж и до фабрики эти дети становятся совершенными преступниками. Они бродяжат по городу и знают такие места в разных подвалах, в которые можно пролезть и где можно переночевать незаметно. Один из них ночевал несколько ночей сряду у одного дворника в какой-то корзине, и тот его так и не замечал. Само собою, становятся воришками. Воровство обращается в страсть даже у восьмилетних детей, иногда даже без всякого сознания о преступности действия. Под конец переносят все -- голод, холод, побои, -- только за одно, за свободу, и убегают от своих халатников бродяжить уже от себя. Это дикое существо не понимает иногда ничего, ни где он живет, ни какой он нации, есть ли бог, есть ли государь; даже такие передают об них вещи, что невероятно слышать, и, однако же, всё факты.

Но я романист, и, кажется, одну "историю" сам сочинил. Почему я пишу: "кажется", ведь я сам знаю наверно, что сочинил, но мне все мерещится, что это где-то и когда-то случилось, именно это случилось как раз накануне рождества, в каком-то огромном городе и в ужасный мороз.

Мерещится мне, был в подвале мальчик, но еще очень маленький, лет шести или даже менее. Этот мальчик проснулся утром в сыром и холодном подвале. Одет он был в какой-то халатик и дрожал. Дыхание его вылетало белым паром, и он, сидя в углу на сундуке, от скуки нарочно пускал этот пар изо рта и забавлялся, смотря, как он вылетает. Но ему очень хотелось кушать. Он несколько раз с утра подходил к нарам, где на тонкой, как блин, подстилке и на каком-то узле под головой вместо подушки лежала больная мать его. Как она здесь очутилась? Должно быть, приехала с своим мальчиком из чужого города и вдруг захворала. Хозяйку углов захватили еще два дня тому в полицию; жильцы разбрелись, дело праздничное, а оставшийся один халатник уже целые сутки лежал мертво пьяный, не дождавшись и праздника. В другом углу комнаты стонала от ревматизма какая-то восьмидесятилетняя старушонка, жившая когда-то и где-то в няньках, а теперь помиравшая одиноко, охая, брюзжа и ворча на мальчика, так что он уже стал бояться подходить к ее углу близко. Напиться-то он где-то достал в сенях, но корочки нигде не нашел и раз в десятый уже подходил разбудить свою маму. Жутко стало ему, наконец, в темноте: давно уже начался вечер, а огня не зажигали. Ощупав лицо мамы, он подивился, что она совсем не двигается и стала такая же холодная, как стена. "Очень уж здесь холодно", -- подумал он, постоял немного, бессознательно забыв свою руку на плече покойницы, потом дохнул на свои пальчики, чтоб согреть их, и вдруг, нашарив на нарах свой картузишко, потихоньку, ощупью, пошел из подвала. Он еще бы и раньше пошел, да все боялся вверх, на лестнице, большой собаки, которая выла весь день у соседских дверей. Но собаки уже не было, и он вдруг вышел на улицу.

Господи, какой город! Никогда еще он не видал ничего такого. Там, откуда он приехал, по ночам такой черный мрак, один фонарь на всю улицу. Деревянные низенькие домишки запираются ставнями; на улице, чуть смеркнется -- никого, все



затворяются по домам, и только завывают целые стаи собак, сотни и тысячи их, воют и лают всю ночь. Но там было зато так тепло и ему давали кушать, а здесь -- господи, кабы покушать! И какой здесь стук и гром, какой свет и люди, лошади и кареты, и мороз, мороз! Мерзлый пар валит от загнанных лошадей, из жарко дышащих морд их; сквозь рыхлый снег звенят об камни подковы, и все так толкаются, и, господи, так хочется поесть, хоть бы кусочек какой-нибудь, и так больно стало вдруг пальчикам. Мимо прошел блюститель порядка и отвернулся, чтоб не заметить мальчика.

Вот и опять улица, -- ох какая широкая! Вот здесь так раздавят наверно; как они все кричат, бегут и едут, а свету-то, свету-то! А это что? Ух, какое большое стекло, а за стеклом комната, а в комнате дерево до потолка; это елка, а на елке сколько огней, сколько золотых бумажек и яблоков, а кругом тут же куколки, маленькие лошадки; а по комнате бегают дети, нарядные, чистенькие, смеются и играют, и едят, и пьют что-то. Вот эта девочка начала с мальчиком танцевать, какая хорошенькая девочка! Вот и музыка, сквозь стекло слышно. Глядит мальчик, дивится, уж и смеется, а у него болят уже пальчики и на ножках, а на руках стали совсем красные, уж не сгибаются и больно пошевелить. И вдруг вспомнил мальчик про то, что у него так болят пальчики, заплакал и побежал дальше, и вот опять видит он сквозь другое стекло комнату, опять там деревья, но на столах пироги, всякие -- миндальные, красные, желтые, и сидят там четыре богатые барыни, а кто придет, они тому дают пироги, а открывается дверь поминутно, входит к ним с улицы много господ. Подкрался мальчик, отворил вдруг дверь и вошел. Ух, как на него закричали и замахали! Одна барыня подошла поскорее и сунула ему в руку копеечку, а сама отворила ему дверь на улицу. Как он испугался! А копеечка тут же выкатилась и зазвенела по ступенькам: не мог он согнуть свои красные пальчики и придержать ее. Выбежал мальчик и пошел поскорей-поскорей, а куда, сам не знает. Хочется ему опять заплакать, да уж боится, и бежит, бежит и на ручки дует. И тоска берет его, потому что стало ему вдруг так одиноко и жутко, и вдруг, господи! Да что ж это опять такое? Стоят люди толпой и дивятся: на окне за стеклом три куклы, маленькие, разодетые в красные и зеленые платьица и совсем-совсем как живые! Какой-то старичок сидит и будто бы играет на большой скрипке, два других стоят тут же и играют на маленьких скрипочках, и в такт качают головками, и друг на друга смотрят, и губы у них шевелятся, говорят, совсем говорят, -- только вот из-за стекла не слышно. И подумал сперва мальчик, что они живые, а как догадался совсем, что это куколки, -- вдруг рассмеялся. Никогда он не видал таких куколок и не знал, что такие есть! И плакать-то ему хочется, но так смешно-смешно на куколок. Вдруг ему почудилось, что сзади его кто-то схватил за халатик: большой злой мальчик стоял подле и вдруг треснул его по голове, сорвал картуз, а сам снизу поддал ему ножкой. Покатился мальчик наземь, тут закричали, обомлел он, вскочил и бежать-бежать, и вдруг забежал сам не знает куда, в подворотню, на чужой двор, -- и присел за дровами: "Тут не сыщут, да и темно".

Присел он и скорчился, а сам отдышаться не может от страха и вдруг, совсем вдруг, стало так ему хорошо: ручки и ножки вдруг перестали болеть и стало так тепло, так тепло, как на печке; вот он весь вздрогнул: ах, да ведь он было заснул! Как хорошо тут заснуть: "Посижу здесь и пойду опять посмотреть на куколок, -- подумал мальчик и усмехнулся, вспомнив про них, -- совсем как живые!.." И вдруг ему послышалось, что над ним запела его мама песенку. "Мама, я сплю, ах, как тут спать хорошо!"

-- Пойдем ко мне на елку, мальчик, -- прошептал над ним вдруг тихий голос.

Он подумал было, что это все его мама, но нет, не она; кто же это его позвал, он не видит, но кто-то нагнулся над ним и обнял его в темноте, а он протянул ему руку и... и вдруг, -- о, какой свет! О, какая елка! Да и не елка это, он и не видал еще таких деревьев! Где это он теперь: все блестит, все сияет и кругом всё куколки, -- но нет, это всё мальчики и девочки, только такие светлые, все они кружатся около него, летают, все они целуют



его, берут его, несут с собою, да и сам он летит, и видит он: смотрит его мама и смеется на него радостно.

-- Мама! Мама! Ах, как хорошо тут, мама! -- кричит ей мальчик, и опять целуется с детьми, и хочется ему рассказать им поскорее про тех куколок за стеклом. -- Кто вы, мальчики? Кто вы, девочки? -- спрашивает он, смеясь и любя их.

-- Это "Христова елка", -- отвечают они ему. -- У Христа всегда в этот день елка для маленьких деточек, у которых там нет своей елки... -- И узнал он, что мальчики эти и девочки все были всё такие же, как он, дети, но одни замерзли еще в своих корзинах, в которых их подкинули на лестницы к дверям петербургских чиновников, другие задохлись у чухонки, от воспитательного дома на прокормлении, третьи умерли у иссохшей груди своих матерей, во время самарского голода, четвертые задохлись в вагонах третьего класса от смраду, и все-то они теперь здесь, все они теперь как ангелы, все у Христа, и он сам посреди их, и простирает к ним руки, и благословляет их и их грешных матерей... А матери этих детей все стоят тут же, в сторонке, и плачут; каждая узнает своего мальчика или девочку, а они подлетают к ним и целуют их, утирают им слезы своими ручками и упрощают их не плакать, потому что им здесь так хорошо...

А внизу наутро дворники нашли маленький трупик забежавшего и замерзшего за дровами мальчика; разыскали и его маму... Та умерла еще прежде его; оба свиделись у господ бога в небе.

И зачем же я сочинил такую историю, так не идущую в обыкновенный разумный дневник, да еще писателя? А еще обещал рассказы преимущественно о событиях действительных! Но вот в том-то и дело, мне все кажется и мерещится, что все это могло случиться действительно, -- то есть то, что происходило в подвале и за дровами, а там об елке у Христа -- уж и не знаю, как вам сказать, могло ли оно случиться, или нет? На то я и романист, чтоб выдумывать.

## Людмила Петрушевская «Страна»

Кто скажет, как живет тихая, пьющая женщина со своим ребенком, никому не видимая в однокомнатной квартире. Как она каждый вечер, как бы ни была пьяной, складывает вещички своей дочери для детского сада, чтобы утром все было под рукой.

Она сама со следами былой красоты на лице — брови дугами, нос тонкий, а вот дочь вялая, белая, крупная девочка, даже и на отца не похожая, потому что отец ее яркий блондин с ярко-красными губами. Дочь обычно тихо играет на полу, пока мать пьет за столом или лежа на тахте. Потом они обе укладываются спать, гасят свет, а утром встают как ни в чем не бывало и бегут по морозу, в темноте, в детский сад.

Несколько раз в году мать с дочерью выбирают в гости, сидят за столом, и тогда мать оживает, громко начинает разговаривать и подпирает подбородок одной рукой и оборачивается, то есть делает вид, что она тут своя. Она и была тут своей, пока блондин ходил у ней в мужьях, а потом все схлынуло, вся прошлая жизнь и все прошлые знакомые. Теперь приходится выбирать те дома и те дни, в которые яркий блондин не ходит в гости со своей новой женой, женщиной, говорят, жесткого склада, которая не спускает никому ничего.

И вот мать, у которой дочь от блондина, осторожно звонит и поздравляет кого-то с днем рождения, тянет, мямлит, спрашивает, как жизнь складывается, однако сама не



говорит, что придет: ждет. Ждет, пока все не решится там у них, на том конце телефонного провода, и наконец кладет трубку и бежит в гастроном за очередной бутылкой, а потом в детский сад за дочкой.

Раньше бывало так, что, пока дочь не засыпала, ни о какой бутылке не было речи, а потом все опростилось, все пошло само собой, потому что не все ли равно девочке, чай ли пьет мать или лекарство. Девочке и впрямь все равно, она тихо играет на полу в свои старые игрушки, и никто на свете не знает, как они живут вдвоем и как мать все обсчитывает, рассчитывает и решает, что ущерба в том нет, если то самое количество денег, которое уходило бы на обед, будет уходить на вино — девочка сыта в детском саду, а ей самой не надо ничего.

И они экономят, гасят свет, ложатся спать в девять часов, и никто не знает, какие божественные сны снятся дочери и матери, никто не знает, как они касаются головой подушки и тут же засыпают, чтобы вернуться в ту страну, которую они покинут опять рано утром, чтобы бежать по темной, морозной улице куда-то и зачем-то, в то время как нужно было бы никогда не просыпаться.

## В. П. НЕКРАСОВ «ВАСЯ КОНАКОВ»

Василий Конаков, или просто Вася, как звали мы его в полку, был командиром пятой роты. Участок его обороны находился у самого подножья Мамаева кургана, господствующей над городом высоты, за овладение которой в течение всех пяти месяцев шли наиболее ожесточенные бои.

Участок был трудный, абсолютно ровный, ничем не защищенный, а главное с отвратительными подходами, насквозь простреливавшимися противником. Днем пятая рота была фактически отрезана от остального полка. Снабжение и связь с тылом происходили только ночью. Все это очень осложняло оборону участка. Надо было что-то предпринимать. И Конаков решил сделать ход сообщения между своими окопами и железнодорожной насыпью. Расстояние между ними было небольшое, метров двадцать, не больше, но кусочек этот был так пристрелян немецкими снайперами, что перебежать его днем было просто невыносимо. В довершение всего был декабрь, грунт промерз, и лопатами и кирками с ним ничего нельзя было поделаться. Надо было взрывать.

И вот тогда-то — я был в то время полковым инженером — мы и познакомились с Конаковым, а позднее даже и сдружились. До этого мы только изредка встречались на совещаниях командира полка да во время ночных проверок обороны. Обычно он больше молчал, в лучшем случае вставлял какую-нибудь односложную фразу, и впечатления о нем у меня как-то не складывалось никакого.

Однажды ночью он явился ко мне в землянку. С трудом втиснул свою массивную фигуру в мою клетушку и сел у входа на корточки. Смуглый кудрявый парень, с густыми черными бровями и неожиданно голубыми, при общей его черноте, глазами. Просидел он у меня недолго — выкурил сигарку, погрелся у печки и под конец попросил немного толу — «а то, будь оно неладно, все лопаты об этот чертов грунт сломал».

— Ладно, — сказал я. — Присылай солдат, я дам сколько надо.





– Солдат? – Он чуть-чуть улыбнулся краешком губ. – Не так-то у меня их много, чтоб гонять взад-вперед. Давай мне, сам понесу. – И он вытащил из-за пазухи телогрейки здоровенный мешок.

На следующую ночь он опять пришел, потом его старшина, потом опять он.

– Ну, как дела? – спрашивал я.

– Да ничего. Работаем понемножку. С рабочей-то силой не очень, сам знаешь.

С рабочей и вообще с какой-либо силой у нас тогда действительно было «не очень-то». В батальонах было по двадцать – тридцать активных штыков, а в других полках, говорят, и того меньше. Но что подразумевал Конаков, когда говорил о своей роте, я понял только несколько дней спустя, когда попал к нему в роту вместе с проверяющим из штаба дивизии капитаном. До сих пор я не мог никак к нему попасть, подвалило работы с минными полями на других участках, и до пятой роты как-то руки не дотягивались.

Последний раз, когда я там был, – это было недели полторы тому назад, – я с довольно-таки неприятным ощущением на душе перебежал эти проклятые двадцать метров, отделявшие окопы от насыпи, хотя была ночь и между ракетами было все-таки по две-три минуты темноты.

Сейчас прямо от насыпи, где стояли пулеметы и полковая сорокапятка, шел не очень, правда, глубокий, сантиметров на пятьдесят не больше, но по всем правилам сделанный ход сообщения до самой передовой.

Конакова в его блиндаже мы не застали. На ржавой, неизвестно откуда добытой кровати, укрывшись с головой шинелью, храпел старшина, в углу сидел скрючившись с подвешенной к уху трубкой молоденький связист.

– А где командир роты?

– Там... – куда-то в пространство, неопределенно махнул головой связист. –

Позвать?

– Позвать.

– Подержите тогда трубку.

Вскоре он вернулся вместе с Конаковым.

– Здорово, инженер. В гости к нам пожаловали? – Он снял через голову автомат и стал расталкивать храпевшего старшину: – Подымайся, друг. Прогуляйся малость.

Старшина растерянно заморгал глазами, вытер рукой рот.

– Что, пора уже?

– Пора, пора. Протирай глаза и топай.

Старшина торопливо засунул руки в рукава шинели, снял со стены трофейный автомат и ползком выбрался из блиндажа. Мы с капитаном уселись у печки.

– Ну как? – спросил он, чтобы с чего-нибудь начать.

– Да ничего. – Конаков улыбнулся, как обычно, одними уголками губ. – Воюем помаленьку.

– И успешно?

– Да как сказать... Сейчас вот фриц утих, а днем, поганец, два раза совался.

– И отбили?

– Как видите, – он слегка замялся. – С людьми вот только беда...

– Ну с людьми везде туго, – привычной для того времени фразой ответил капитан и засмеялся. – За счет количества нужно качеством брать.

Конаков ничего не ответил. Потянулся за автоматом.

– Пойдем, что ли, по передовой пройдемся?

Мы вышли.

И тут-то выяснилось то, что ни одному из нас даже в голову не могло прийти. Мы прошли всю передовую от левого фланга до правого, увидели окопы, одиночные ячейки для бойцов с маленькими нишами для патронов, разложенные на бруствере винтовки и



автоматы, два ручных пулемета на флангах – одним словом, все то, что и положено быть на передовой. Не было только одного – не было солдат. На всем протяжении обороны мы не встретили ни одного солдата. Только старшину. Спокойно и неторопливо, в надвинутой на глаза ушанке, переходил он от винтовки к винтовке, от автомата к автомату и давал очередь или одиночный выстрел по немцам.

Потом уже, много месяцев спустя, когда война в Сталинграде кончилась и мы, в ожидании нового наступления, отдыхали и накапливали силы на Украине, под Купянском, Конаков рассказывал мне об этих днях, когда они вместе со старшиной держали оборону всей роты.

– Трудновато было, что и говорить. Сам удивляюсь, откуда нервы взялись... Тогда еще, когда ход сообщения рыли, в роте было человек шесть бойцов. Потом один за другим все вышли из строя. Немец каждый день по три-четыре раза в атаку ходит, а пополнения нет. Что хочешь, то и делай. Звоню комбату, а он что? – сам солдат не родит. Жди, говорит, обещают со дня на день подкинуть. Вот мы и ждали – я, старшина и пацан, связист Сысоев. Сысоев на телефоне, а мы со старшиной по очереди на передовой. Постреливаем понемножку, немцев дурачим, пусть думают, что нас много. А как атака... Ну тут нас пулеметчики и артиллеристы вывозили. На насыпи, под вагонами, два станковых стояло и одна сорокапятка. Вот они и работали... Но вообще, что и говорить, приятного было мало. Особенно когда старшина на берег, на кухню ходил. Бродишь один-одинешенек по передовой, даешь редкие очереди – много нельзя, патроны для дела беречь надо – а сам как подумаешь, что вот ты здесь один, как палец, да в блиндаже Сысоев с трубкой, а впереди перед тобой, метров за пятьдесят каких-нибудь, немцев черт его знает сколько. Сейчас вот вспоминаешь, улыбаешься только, а тогда... Ей-богу, когда старшина с берега приходил с обедом, расцеловать его готов был. А когда через три дня пять человек пополнения дали, ну, тогда уж ничего не страшно стало.

Дальнейшая судьба Конакова мне неизвестна – война разбросала нас в разные стороны. На Донце я был ранен. Когда вернулся в полк, Конакова в нем уже не было – тоже был ранен и эвакуирован в тыл. Где он сейчас, я не знаю. Но когда вспоминаю его – большого, неуклюжего, с тихой, стеснительной улыбкой; когда вспоминаю, как он молча потянулся за автоматом в ответ на слова капитана, что за счет количества надо нажимать на качество; когда думаю о том, что этот человек вдвоем со старшиной отбивал по нескольку атак в день и называл это только «трудновато было», – мне становится ясно, что таким людям, как Конаков, и с такими людьми, как Конаков, не страшен никакой враг. А ведь Конаковых у нас миллионы, десятки миллионов.

1956



## Джек Лондон «ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ»

Потоком времени не все поглощено.  
Жизнь прожита, но облик ее вечен.  
Пусть золото игры, в волнах погребено —  
Азарт игры как выигрыш отмечен.

Два путника шли, тяжело хромая, по склону холма. Один из них, шедший впереди, споткнулся о камни и чуть не упал. Двигались они медленно, усталые и слабые, и напряженные их лица были покрыты той покорностью, какая является результатом долгих страданий и перенесенных лишений. К плечам их были привязаны тяжелые мешки. Головные ремни, проходящие по лбу, придерживали ношу на шее. Каждый путник нес в руках ружье.

Они шли согнувшись, выдвинув вперед плечи, с глазами, уставленными в землю.

— Если бы только были у нас два патрона из тех, какие мы спрятали в нашей яме, — сказал второй человек.

Его голос звучал тускло. Он говорил без всякого чувства. Первый человек, прихрамывая, переходил пенящийся между скал ручей — вода его была мутная, молочно-известкового цвета — и ничего ему не ответил.

Второй путник вошел в воду вслед за первым. Они не сняли обуви, хотя вода была ледяная — такая холодная, что их ноги болезненно немели.

В некоторых местах вода доходила до колен, и оба они шатались и теряли равновесие.

Путник, идущий сзади, поскользнулся о камень. Он чуть было не упал, но с большим усилием выпрямился, издав острый крик боли. Его голова кружилась, и он выставил правую руку, как бы ища опоры в воздухе.

Найдя равновесие, он двинулся вперед, но зашатался и снова чуть не упал. Тогда он остановился и посмотрел на своего товарища, который даже не повернул головы.

Он стоял неподвижно в течение минуты, как бы что-то обдумывая. Затем крикнул:

— Послушай, Билл, я вывихнул себе ногу!

Билл шел, шатаясь, по известковой воде. Он не обернулся. Человек, стоявший в ручье, посмотрел вслед уходящему. Его губы немного дрожали, и видно было, как двигались темно-рыжие усы, их покрывавшие. Он пытался смочить губы языком.

— Билл! — крикнул он снова.

Это была мольба сильного человека, очутившегося в беде. Но Билл не повернул головы. Человек смотрел, как спутник его уходит шатающейся походкой, нелепо прихрамывая и качаясь взад и вперед. Билл поднимался по отлогому склону низкого холма и подходил к мягкой линии окаймляющего его неба. Говоривший смотрел на уходящего товарища, пока тот не перевалил через вершину и не исчез за холмом. Тогда он перевел взгляд на окружающий ландшафт и медленно охватил взором мир. Только он — этот мир — остался ему теперь после ухода Билла.

Солнце неясно обозначалось вблизи горизонта, почти скрытое за туманом и паром, поднимающимися из долины. Эти туманные облака казались густыми и плотными, но были бесформенны и не имели очертаний.

Путник, опираясь на одну ногу, вынул часы.





Было четыре часа, и так как стоял конец июля или начало августа — точно он не знал числа, — солнце должно было находиться на северо-западе. Он посмотрел на запад: где-то там, за пустынными холмами, лежало Великое Медвежье озеро. Он знал также, что в этом направлении Полярный круг проходит через проклятую область бесплодных равнин Канады. Ручей, в котором он стоял, был притоком Медной реки, которая течет к северу и вливается в заливе Коронации в Северный Ледовитый океан. Он никогда не бывал там, но видел эти места на карте Компании Гудзонова залива.

Снова взор его охватил окружающий пейзаж. То было невеселое зрелище. Всюду кругом обрисовывалась мягкая линия неба. Всюду поднимались невысокие холмы. Не было ни деревьев, ни кустов, ни травы — ничего, кроме бесконечной и страшной пустыни, вид которой внезапно заставил его содрогнуться.

— Билл, — прошептал он несколько раз. — Билл!

Он опустился посреди молочной воды, как будто окружающая ширь теснила его неодолимой и суровой своей властью и сокрушала ужасом своей обыденности. Он стал дрожать, словно в сильной лихорадке, пока ружье не выпало из его рук и с плеском не ударилось о воду. Это как будто пробудило его. Подавляя свой страх, он стал шарить в воде, пытаясь найти ружье. Он придвинул ношу к левому плечу, чтобы облегчить тяжесть для поврежденной ноги. Затем он начал осторожно и медленно, корчась от боли, продвигаться к берегу.

Он не остановился. С отчаянием, граничившим с безрассудством, не обращая внимания на боль, он спешил по направлению к холму, за которым исчез его товарищ. Его фигура выглядела еще более нелепой и странной, чем облик ушедшего путника. Снова в нем поднималась волна страха, и преодоление его стоило ему величайших усилий. Но он справился с собой и снова, отодвинув мешок еще дальше к левому плечу, продолжал путь по склону холма.

Дно долины было болотисто. Толстый слой мха, подобно губке, впитывал в себя воду и удерживал ее близко к поверхности. Вода эта проступала из-под ног путника на каждом шагу. Ноги его тонули в мокром мху, и он с большим усилием освобождал их из топи. Он выбирал себе дорогу от одного открытого места к другому, стараясь идти по следу того, кто прошел тут раньше. След этот вел через скалистые площадки, подобные островам в этом мшистом море.

Хотя он был один, но не терял дороги. Он знал, что придет к месту, где сухой карликовый ельник окаймляет берег маленького озера, называвшегося на языке страны «Тичиничили», или Страна Низких Стволов. В это озеро втекал небольшой ручей, вода которого не была молочной, подобно воде других ручьев этой местности. Он помнил хорошо, что вдоль этого ручья рос тростник. Он решил следовать по его течению до того места, где течение раздваивается. Там он перейдет ручей и найдет другой ручей, текущий к западу. Он пойдет вдоль него, пока не дойдет до реки Дизы, куда впадает этот ручей. Здесь он найдет яму для провизии — в потайном месте, под опрокинутой лодкой, с наваленной на нее грудой камней. В этой яме лежат заряды для его пустого ружья, рыболовные принадлежности, маленькая сетка для лова — одним словом, все приспособления для охоты и ловли пищи. Он найдет там также немного муки, кусок свиного сала и бобы.

Там Билл будет ожидать его, и они вместе отправятся на лодке вниз по Дизе к Великому Медвежьему озеру. Они будут плыть по озеру по направлению к югу, все южнее и южнее, пока не достигнут реки Маккензи. Оттуда они снова двинутся к югу. Таким образом они уйдут от наступающей зимы, от ее льдов и холода. Они дойдут, наконец, до Поста Компании Гудзонова залива, где растут высокие и густые леса и где пищи сколько угодно.



Вот о чем думал путник, продолжая продвигаться. Напряжению его тела соответствовало такое же усилие его мысли, пытающейся убедиться в том, что Билл его не оставил, что он, наверно, будет ждать его у ямы. Этой мыслью он должен был себя успокаивать. Иначе идти было бесцельно и надо было ложиться на землю и умирать. Мысль его усиленно работала. Наблюдая, как неясный шар солнца медленно опускался к северо-западу, он все снова и снова вспоминал малейшие подробности начала его бегства к югу, вместе с Биллом, от настигавшей их зимы. Снова и снова он мысленно перебирал запасы провизии, спрятанной в яме. Вспоминал он все время и запасы Поста Компании Гудзонова залива. Он не ел два дня, а перед этим долго, очень долго недоедал. Часто он наклонялся, срывал бледные ягоды кустарника, клал их в рот, жевал и глотал. Эти ягоды — семя, заключенное в капсуле с безвкусной жидкостью. На вкус это семя очень горько. Человек знал, что ягоды совершенно непитательны, но терпеливо продолжал жевать.

В девять часов он ушиб большой палец ноги о каменную глыбу, пошатнулся и свалился на землю от усталости и слабости. Он лежал некоторое время без движения, на боку. Затем высвободился из ремней своего дорожного мешка и с трудом принял сидячее положение. Было еще не совсем темно. В свете длящихся сумерек он ощупью старался отыскать между скалами обрывки сухого мха. Собрав кучу, он зажег огонь — теплый, дымный огонь — и поставил на него кипятить свой котелок.

Он развернул свою поклажу и стал считать свои спички.

Их было шестьдесят семь. Для верности он три раза пересчитал их. Он разделил их на небольшие пакеты, которые завернул в непромокаемую вощеную бумагу, и положил одну пачку в пустой кисет для табака, другую — за подкладку измятой шляпы, третью — под рубашку у тела. Сделав это, он вдруг поддался паническому страху, снова развернул их и пересчитал. И снова он насчитал шестьдесят семь.

Он высушил обувь у огня. Его мокасины разлезались на мокрые лоскуты. Шерстяные носки были сплошь в дырках, а ноги — изранены и окровавлены. Лодыжка горела от вывиха. Он посмотрел ее и нашел, что она распухла и стала величиной с колено. Он оторвал длинную полосу от одного из своих двух одеял и туго завязал ногу. Другими полосками он обернул ноги, пытаясь заменить этим мокасины и носки. Затем выпил кипящую воду из котелка, завел часы и полез под верхнее одеяло. Он спал мертвым сном. Но недолго было темно. Солнце встало на северо-востоке. Вернее, заря забрезжила в этом месте, ибо солнце осталось скрытым за серыми облаками.

В шесть часов он проснулся, лежа на спине. Он глядел прямо вверх в серое небо и чувствовал, что голоден. Повернувшись на локте, он внезапно вздрогнул от раздавшегося вблизи громкого фыркания и увидел карибу, рассматривающего его с живым любопытством. Животное находилось на расстоянии не более пятидесяти футов от него. Мгновенно и мучительно остро он ощутил вкус оленьего филе и увидел его шипящим над огнем. Машинально взял незаряженное ружье, взвел курок и нажал на спуск. Олень фыркнул и отскочил. Его копыта гремели, когда он бежал по скалам.

Путник выругался и отбросил ружье. Он громко застонал, пытаясь встать на ноги. Это была тяжелая и медленная работа. Его суставы напоминали ржавые шарниры. Они двигались с трудом, задерживаемые трением связок. Чтобы согнуть какой-нибудь член, требовалось огромное усилие воли. А после того как он встал окончательно на ноги, целая минута пошла на то, чтобы выпрямиться.

Он вполз на небольшое возвышение и обозрел местность. Не было ни деревьев, ни кустов — ничего, кроме серого моря мхов, где изредка выделялись такие же серые скалы, серые озерки и серые ручьи. Не было даже намека на солнце. Он не имел понятия о том, где находится север, и забыл дорогу, по которой накануне вечером пришел в это место. Но он знал, что не потерял пути. Скоро он придет в Страну Низких Стволов. Он



чувствовал, что она лежит где-то налево, недалеко — быть может, сейчас же за соседним низким холмом.

Он вернулся, чтобы уложить свою поклажу для путешествия. Затем удостоверился в существовании трех отдельных пачек спичек, хотя не пересчитывал их. Но он колебался, раздумывая, при виде плоского мешка из лосиной кожи. Его размеры были невелики, и он мог покрыть его обеими руками. Но он знал, что мешок весит пятнадцать фунтов — столько же, сколько вся остальная поклажа. Это беспокоило его. Он отложил мешок и стал свертывать поклажу. Но скоро взор его снова вернулся к кожаному мешку, и он снова за него схватился, бросив вызывающий взгляд на окружающую местность, словно упрекая пустыню в желании украсть его добро. Когда же он встал на ноги, с тем чтобы двинуться дальше, и пошел вперед, тяжело ступая, — мешок был включен в ношу на его спине.

Он двигался влево, останавливаясь изредка, чтобы собирать ягоды с кустов. Его нога окоченела, и прихрамывание стало более заметным. Но боль эта была незначительна в сравнении с болью в животе. Голод мучил его с такой остротой, что он не мог удерживать в мысли направление, ведущее в Страну Низких Стволов. Ягоды не утишали этих мук и в то же время своей едкостью болезненно раздражали полость рта.

Он вышел в долину и вспугнул там несколько птармиганов<sup>1</sup>, сидевших на скалах и на кустах. Они поднялись, хлопая крыльями, издавая звуки «кер-кер-кер». Он бросал в них камни, но попасть не мог. Тогда он положил свою поклажу на землю и начал к ним подкрадываться, подобно тому, как кошка подкрадывается к воробью. Острые скалы ранили ноги, и колени его оставляли за собой на земле кровавый след. Но боль эта была несравнима с мучениями голода. Он полз по мокрому мху, и одежда его пропитывалась водой, леденившей его члены. Его голод был так мучителен, что он ничего этого не замечал. Но птармиганы удалялись все дальше и дальше, и наконец их крик стал для него словно насмешкой. Он проклинал их и кричал, подражая им «кер-кер-кер».

Наконец он дополз до одной птицы, которая, вероятно, спала. Он не видал ее, пока она не вылетела из своего убежища в скалах и не порхнула мимо его лица. Он попытался схватить ее, и в руке остались три пера из ее хвоста. Глядя вслед улетающей птице, он остро и мучительно ее ненавидел. Затем вернулся к прежнему месту и навьючил на себя мешок.

В течение дня он вышел в долину, где дичи было еще больше. Стадо северных оленей — их было больше двадцати — прошло мимо, дразня его своей близостью. Он ощущал сумасшедшее желание бежать за ними и был почти уверен, что сможет их настигнуть. Черно-бурая лисица бежала ему навстречу, неся в зубах птармигана. Путник закричал. Это был страшный крик, и лисица испуганно метнулась в сторону, но птармигана не бросила.

Поздно, после полудня, он шел вдоль ручья, молочного от извести, пробегающего между редкими зарослями тростника. Крепко ухватившись за тростник у самого его корня, он вытащил нечто вроде молодой луковицы, размером не больше кровельного гвоздя. Она была нежна, и зубы с наслаждением в нее вонзились. Но волокна корня были крепки и пропитаны водой. Как и ягоды, тростник был непитателен. Путник отбросил свою поклажу и на четвереньках вполз в заросли, вырывая луковицы и перетирая их зубами, подобно травоядному животному.

Он очень устал и часто ощущал желание лечь и заснуть. Но его подгонял голод — гораздо острее, чем желание достичь Страны Низких Стволов. Он искал лягушек в лужах и рыл ногтями землю, отыскивая червей, хотя знал, что так далеко на севере не существует ни лягушек, ни червей.

Он тщетно искал в каждой луже. Наконец, уже в сумерках, он нашел в одной из луж одинокую рыбу — небольшого пискаря<sup>2</sup>. Он погрузил в воду свою руку до плеча, но рыба



увильнула. Тогда он опустил обе руки и поднял со дна молочно-известковый ил. В своем возбуждении он упал в лужу и вымочился до пояса. Но вода стала слишком мутной, чтобы в ней можно было разглядеть рыбу, и он должен был ждать, пока ил уляжется.

Преследование продолжалось, пока вода не стала снова мутной. Но он не мог ждать. Он отстегнул от своего мешка ведро и стал вычерпывать воду из лужи. Сперва он вычерпывал, яростно плеща на себя водой и выливая ее на такое небольшое расстояние, что она текла обратно в лужу. Тогда он стал работать более внимательно, пытаясь оставаться хладнокровным, хотя сердце его билось в груди и руки дрожали. Через полчаса в луже воды не осталось. Но рыбы не было. Он нашел скрытую щель между камнями, через которую она ушла в соседнюю большую лужу... И из этой лужи нельзя было бы вычерпать воду в течение суток. Знай он только об этой щели — он мог бы закрыть ее камнем в самом начале — и поймал бы рыбу.

Так думал он и опустился, съежившись, на мокрую землю. Сперва он плакал вполголоса, а затем громко, словно обращаясь с жалобой к беспощадной пустыне. И долго еще потом он всхлипывал без слез.

Он зажег костер и согрелся тем, что пил горячую воду. Затем, как и накануне, устроил себе ночлег на сухой каменной площадке; осмотрел — сухи ли спички, и завел часы. Одежда была мокрая и липкая. Его нога болезненно ныла. Но он создавал только, что голоден. Он спал тревожно и видел во сне нескончаемые пиры и празднества, видел тонкие яства.

Проснулся он простуженным и больным. Солнца не было. Серая земля и серое небо еще больше потемнели. Дул сырой ветер, и первые снежинки покрывали белеющим покровом вершины холмов.

Воздух вокруг него сгущался и белел в то время, как он раскладывал костер и кипятил воду. Это был не то снег, не то дождь: хлопья были большие и мокрые. Сперва они таяли, как только прикасались к почве; но их падало все больше и больше, и белый покров постепенно расстился кругом. Снег тушил огонь и портил собранный путником запас сухого мха.

Это послужило сигналом для отправки в путь. Он двинулся с поклажей на спине. Он не знал, куда идет. Его больше не заботила мысль о Стране Низких Стволов, и он перестал думать о Билле и о яме под перевернутой лодкой около реки Дизы. Он помнил только одно, и это был глагол «есть». Он сходил с ума от голода. Он не обращал внимания на направление своего пути, стараясь только держаться вдоль дна долины. Он прокладывал себе путь через мокрый снег к ягодам на кустах и шел, ощупывая тростники и вырывая их корни. Но последние были совсем безвкусны. Он нашел какую-то кислую траву и съел все ее побеги. Но ее видно было очень мало, так как это была ползучая поросль, исчезающая под тонким покровом снега.

В этот вечер он не разводил огня и не имел горячей воды. Он лег спать под одеяло и спал беспокойным голодным сном. Снег превратился в холодный дождь. Он несколько раз просыпался и ощущал его капли на своем лице.

Проглянул день — серый день без солнца. Дождь перестал. Острота голода исчезла. Чувствительность, поскольку она вызывала стремление насытиться, была истощена. Осталась тупая, тяжелая боль в желудке, но это не особенно ему мешало. Он стал рассудительней и был снова озабочен мыслью о Стране Низких Стволов и складе у реки Дизы.

Он разорвал остатки одного из своих одеял и обмотал ими свои израненные ноги. Затем снова перевязал больную ногу и приготовился продолжать путешествие. Осматривая поклажу, он долго раздумывал над плоским мешком из лосиной кожи, но в конце концов захватил его с собой.





Под действием дождя снег растаял, и только вершины холмов продолжали белеть. Солнце показалось. Ему удалось определить по компасу направление, и он знал теперь, что потерял дорогу. Быть может, в блужданиях последних дней он подался слишком далеко влево. Поэтому он ударился вправо, с тем чтобы уравновесить возможное отклонение от правильного пути.

Хотя мучения голода были уже не столь остры, но он был очень слаб и сознавал это. Он должен был часто останавливаться для отдыха и в это время жевал ягоды и корни тростника. Язык его был сух и распух; казалось, он покрылся тонким пухом. Во рту было горько. Сердце также причиняло ему много хлопот. Когда он ступал несколько шагов — оно начинало сильно биться, а затем словно прыгало вверх и вниз в мучительных перебоях, от которых ему трудно дышалось и голова его кружилась.

В середине дня он нашел двух пискарей в большой луже. Было невозможно вычерпать воду, но теперь он был хладнокровнее, и ему удалось поймать их в жестяное ведро. Они были не длиннее мизинца, но он не ощущал особенного голода. Тупая боль в животе постепенно стала исчезать. Казалось, что желудок его дремлет. Он съел рыб сырыми, заботливо разжевывая их, ибо еда теперь была делом простого благоразумия. Есть он не хотел, но знал, что должен есть, чтобы жить.

Вечером он поймал еще трех пискарей. Он съел двух и оставил третьего про запас для завтрака. Солнце высушило клочки мха, и он мог согреться горячей водой. В этот день он сделал не больше десяти миль. В следующий день, двигаясь только тогда, когда сердце ему позволяло, он сделал не более пяти миль. Но желудок не причинял ему ни малейшего беспокойства. Он собрался спать. Страна была неведомая.

Все чаще встречались карибу, попадались и волки. Нередко их вой проносился по пустыне, и раз он увидел впереди трех крадущихся волков.

Еще одна ночь прошла. Утром, будучи более рассудительным, он развязал ремень, связывавший плоский мешок из лосиной кожи. Из последнего высыпался золотой песок и выпали слитки. Он разделил золото на две половины и спрятал одну часть на выступе скалы, завернув слитки в кусок одеяла. Другая часть была положена обратно в мешок. Оторвав полосы единственного оставшегося одеяла, он обернул ими свои ноги. Он все еще цеплялся за ружье, так как в яме у реки Дизы находились заряды.

День был туманный. В этот день голод в нем снова проснулся. Он был очень слаб, а голова кружилась так сильно, что временами он переставал видеть. Теперь он часто спотыкался и падал. Раз, споткнувшись, он свалился как раз над гнездом птармигана. В гнезде было четыре птенчика, накануне вылупившихся из яйца, — маленькие комочки трепещущей жизни, достаточные только для одного глотка. Он жадно съел их, запихивая живыми в рот и раздавливая зубами как яичную скорлупу. А мать с криком летала вокруг него. Он пытался сшибить ее ружьем, но тщетно. Он стал бросать в нее камнями и случайным ударом перебил крыло. То перепархивая, то волоча разбитое крыло, она пыталась спастись.

Цыплята только обострили его аппетит. Он неловко подпрыгивал на своей больной ноге, бросая в нее камни и дико крича; затем замолкал, продолжая за ней гнаться, падая и терпеливо поднимаясь или протирая глаза руками, когда голова его слишком кружилась. Охота увлекла его на болотистое место на дне долины, где он увидел на мокром мху следы человека. Это не были его следы — он хорошо это видел. Должно быть, здесь проходил Билл. Но остановиться он не мог, так как птармиган убегал все дальше. Он сперва его поймает, а затем расследует это дело.

Птицу он загнал. Но и его силы иссякли. Судорожно двигаясь, она лежала на боку. И он также лежал на боку, шагах в десяти от нее, задыхаясь и не имея сил, чтобы подползти к ней. Когда же он оправился, она тоже собралась с силами и упорхнула в то время, когда его жадная рука уже готовилась ее схватить. Долго продолжалось





преследование. Но ночь наступила, и птица спаслась. Он споткнулся от слабости и упал лицом вниз, с мешком на спине. Падая, он разрезал себе щеку. Долгое время он не двигался. Затем перевернулся на спину, завел часы и лежал там до утра.

Еще один туманный день. Половина одеяла ушла на обмотки для ног. Он не нашел следов Билла. Впрочем, это было безразлично. Голод гнал его слишком властно. Он спрашивал себя только — не потерялся ли также и Билл в этой пустыне. К полудню ему невмоготу стало тащить свою ношу. Снова он разделил золото, высыпав на этот раз половину прямо на землю. Днем он выбросил остальную часть и оставил только половину одеяла, жестяной котелок и ружье.

Он стал галлюцинировать. Ему казалось, что у него остается один нетронутый заряд: лежит, случайно незамеченный, в затворе ружья. А вместе с этим он знал, что затвор пуст. Но галлюцинация ежеминутно возобновлялась. Устав бороться с нею, он открыл затвор — и нашел его пустым. Разочарование его было так же велико, как если бы он в самом деле твердо надеялся найти патрон.

Это повторялось много раз, и он то и дело открывал затвор, чтобы убедиться, что в нем нет заряда. Временами его мысль блуждала в еще более фантастических грезах. Он шел точно автомат, а в это время странные идеи и представления копошились, словно черви, в его мозгу. Впрочем, эти уходы в область нереального длились недолго: снова и снова муки голода возвращали его к действительности. Раз он внезапно пробудился от такого сна наяву и увидел зрелище, которое чуть-чуть не заставило его упасть в обморок. Перед ним стояла лошадь! Он не верил своим глазам и усиленно стал протирать их, чтобы отогнать густой туман, окутавший его зрение. Постепенно он разобрал, что это не лошадь, а большой бурый медведь. Зверь глядел на него с воинственным любопытством.

Человек инстинктивно поднял ружье на половину расстояния до плеча, и только несколько секунд спустя к нему вернулась способность соображения. Он опустил ружье и вынул из ножен у бедра охотничий нож, попробовал пальцем его лезвие и убедился, что оно отточено. Он бросится на медведя и убьет его! Но сердце его начало отбивать угрожающее: тук-тук-тук. Затем — ряд перебоев, и он почувствовал, что словно железный обруч сжимает его лоб и туман овладевает его мозгом.

Его смелость стала исчезать, сменяясь волной великого испуга. А что если зверь нападет на него — такого слабого, почти беззащитного?

Он выпрямился и принял возможно более внушительную позу, держа нож и глядя прямо в глаза медведю. Медведь неловко подвинулся на несколько шагов, встал на задние лапы и зарычал. Если бы человек побежал, он бросился бы за ним. Но человек не бежал: его обуяло мужество страха. Он тоже издал яростный крик, и в голове его билась неизбывная любовь к жизни и звучал непреодолимый страх, столь неразрывно связанный с этой любовью.

Медведь слегка отступил, рыча, но явно боясь этого таинственного существа, стоящего перед ним твердо и бесстрашно. Человек не двигался; он застыл как изваяние, и только когда медведь скрылся и опасность миновала, им овладел припадок нервной дрожи, и он свалился в изнеможении на мокрый мох.

Но вскоре, собравшись с силами, он двинулся дальше, охваченный новым страхом. Теперь он боялся уже не смерти от недостатка пищи, но был одержим ужасной мыслью, что звери разорвут его раньше, чем голод истощит последнюю частицу его жизненной силы. Вокруг бродили волки. Их вой слышался отовсюду, наполняя воздух угрозой; от этой угрозы, в своем начинающемся безумии, он слабо отмахивался руками — словно отталкивал от себя колеблемый ветром тент палатки.

Волки то и дело приближались по двое и по трое, пересекая путь, каким он шел. Но они все же держались от него на достаточном расстоянии — видимо, их было немного. Они привыкли охотиться за карибу, который оказывает мало сопротивления, и с опаской



относились к человеку — странному животному, ступающему на задних ногах и способному, быть может, защищаться когтями и зубами.

К вечеру он дошел до места, где лежали кости, недавно оставленные волками. Их добычей был молодой карибу — час назад он был еще жив. Путник осмотрел кости, начисто обглоданные и вылизанные, розоватые — клеточная ткань, видимо, еще не отмерла. Неужели и он превратится в эту грудку костей до конца дня? Так вот что такое жизнь?! Умереть — разве это не значит уснуть? В смерти — великое успокоение и мир. Так почему же он не хочет умереть?

Но он не долго философствовал. Он присел на мху, высасывая из костей соки, еще сохранившиеся в клетках. Сладкий вкус мяса, тонкий и неуловимый, как воспоминание, выводил его из себя. Ломая зубы, он принялся разгрызать кости, затем стал разбивать кости камнем и истолок их в порошок, который проглотил. Второпях он ударил себя по пальцам и порою недоумевал, почему не чувствует боли.

А затем наступили ужасные дни со снегом и дождем. Он не знал уж, когда устраивает стоянку и когда снимается с лагеря. Шел он и по ночам и днем, отдыхал везде, где ему случалось падать; и когда жизнь вновь вспыхивала, полз дальше. Сознательно он уже не боролся. Жизнь — сама жизнь, не желавшая умирать, — гнала его вперед. Он уже больше не страдал. Его нервы притупились, онемели, а в сознании проплывали жуткие видения и сладостные сны.

На ходу он сосал и жевал истолченные кости карибу, которые собрал и унес с собою. Он не переходил больше через холмы и ущелья, но машинально шел вдоль большого потока, протекавшего по дну широкой и неглубокой долины. Но он не видел ни воды, ни долины. Он ничего не воспринимал, кроме своих видений. Душа и тело его как будто шли — вернее, ползли рядом, — оставаясь разъединенными и связанными одною тонкою нитью.

Он проснулся в полном сознании, лежа на спине на выступе скалы. Солнце ярко сияло. Неподалеку слышалась поступь карибу. В уме его проносились смутные воспоминания о дожде, ветре и снеге, но он не знал — боролся ли с бурей два дня, либо две недели.

Он лежал некоторое время без движения, отогревая на солнце свое изможденное тело. Хороший день, думал он. Может быть, ему удастся определить свое местонахождение? Под ним, внизу, текла широкая и спокойная река. Он не знал ее и был удивлен. Медленно проследил он взглядом ее течение, вьющееся изгибами между пустынными, голыми холмами; холмы эти выглядели более оголенными и низкими, чем виденные им ранее. Медленно и внимательно, без возбуждения и даже без обычного интереса он следил за течением этой незнакомой реки и увидал, что оно вливается в яркое и блестящее море. Это не произвело на него особенного впечатления. Галлюцинация или мираж, подумал он, — вероятнее всего, галлюцинация — следствие его расстроенного душевного состояния! И словно в подтверждение, он увидел корабль, стоявший на якоре в открытом море. На мгновение он закрыл глаза и затем снова раскрыл. Странно — видение не исчезало! Но как перед тем он знал, что не могло быть зарядов в пустом затворе ружья, так и теперь был уверен в призрачности моря: кораблей в сердце пустыни быть не могло. И вдруг он услышал за собою странное сопение и как бы задыхающийся кашель. Медленно, очень медленно, едва двигаясь от слабости и околечения, он перевернулся на другую сторону. Вблизи ничего не было видно, но он терпеливо ждал. Снова раздались сопение и кашель, и в нескольких десятках шагов он увидел между двумя скалами серую голову волка. Острые уши его, однако, не стояли приподнятыми вверх, как обычно у волков, глаза выглядели мутными и налились кровью, а голова уныло и безнадежно была опущена. Животное все время мигало на



солнечном свете и казалось больным. В то время как он на него смотрел, оно снова засопело и закашляло.

«Это, по крайней мере, — действительность», — подумал он и повернулся в другую сторону, чтобы убедиться, что галлюцинации уже нет. Но море все еще блестело вдаль, и корабль был ясно виден. «Неужели это в самом деле действительность?» Он закрыл глаза и некоторое время размышлял. И вдруг понял. Он шел не на север, а на восток, уходя от реки Дизы, двигаясь в направлении Долины Медных Рудников. Этот широкий и медленный поток — Медная река. Мерцающее море — Ледовитый океан. Корабль — китоловное судно, зашедшее далеко на восток из устья реки Маккензи. Оно стояло на якоре в заливе Коронации.

Он вспомнил карту, виденную им когда-то в конторе Компании Гудзонова залива, и все стало для него ясным и понятным.

Он обратился к делам, не терпящим отлагательств. Обмотки оказались сношенными, и ноги его превратились в бесформенные куски мяса. Одежда он уже потерял; ружья и ножа тоже не было. Он потерял где-то шапку с пачкой спичек в подкладке. Но спички на его груди сохранились сухими в табачном кисете и в пакете из воощенной бумаги. Он посмотрел на часы. Они показывали четыре часа и все еще шли. Очевидно, он их машинально заводил.

Спокойствие и хладнокровие не покидали его. Несмотря на чрезвычайную слабость, боли он не ощущал. И голоден он не был. Мысль о еде не особенно его тревожила, и сознания он не терял. Оторвав материю брюк снизу до колен, он обмотал ее вокруг ног. Каким-то образом ему удалось сохранить жестяной котелок. Он сознавал, что ему предстоит тяжелый путь к кораблю, и решил сперва напиться горячей воды.

Его движения были медленны, и он дрожал, как в лихорадке. Решившись встать, чтобы идти собирать сухой мох, он обнаружил, что не может подняться. Он повторил попытку — так же безуспешно — и затем удовольствовался тем, что пополз на руках и ногах. Пришлось проползти мимо больного волка. Животное неохотно отодвинулось, облизывая губы ослабевшим языком. Он заметил, что язык этот был не красный, как обычно, а желто-бурый и покрыт каким-то сухим налетом.

Выпив котелок горячей воды, путник нашел, что может не только стоять, но даже двигаться — так, впрочем, как мог бы передвигаться и умирающий. Уже ежеминутно он был вынужден отдыхать. Его поступь была слабой и неверной, и его движения похожи на движения больного волка. Шел он медленно, и когда темнота скрыла мерцающее море, оказалось, что за весь день он прошел только четыре мили.

Ночью он не раз слышал кашель больного волка и мычание оленей.

Он знал, что больной волк тащится по его следу, надеясь, что человек умрет первым. Утром он увидел зверя, наблюдавшего за ним жадным и голодным взглядом. Зверь полулежал-полустоял, с хвостом между ногами — как несчастная, брошенная собака, — и дрожал от холода, безжизненно скаля зубы, когда человек обратился к нему хриплым шепотом.

Взошло яркое солнце, и путник, шатаясь и падая, шел все утро к кораблю. Погода была исключительная. То было короткое индейское лето Дальнего Севера. Оно могло длиться неделю и в любой день исчезнуть.

После полудня путник напал на след. Это был след человека, который уже не мог идти, а тащился на четвереньках. Путник сообразил, что это мог быть Билл, но думал об этом без особенного интереса. Он не испытывал любопытства, ибо давно уже потерял способность ощущать и чувствовать по-настоящему. Он стал нечувствителен к боли. Желудок и нервы его заснули. Но трепетавшая в нем жизнь неустанно гнала его вперед. Он чувствовал себя совершенно изможденным, а жизнь не сдавалась. Подстегиваемый ею, он продолжал есть ягоды, ловить пискарей и пить горячую воду и с опаской следил за



идушим по пятам волком. Скоро след тащившегося впереди человека пресекался, и он наткнулся на несколько свежееобглоданных человеческих костей. Вокруг них сырой мох сохранил следы волчьей стаи, а на мху лежал плоский мешок из лосиной кожи — точь-в-точь такой же, как и его. Мешок был разорван острыми зубами. Он поднял его, хотя мешок был слишком тяжел. Билл нес его до конца! Ха-ха! Вот когда можно было посмеяться! Он — оставленный позади — выживает и понесет мешок к мерцающему морю! Его смех звучал хрипло и жутко — подобно карканью ворона. Больной волк присоединился к нему унылым воем. Но человек вдруг замолк. Как может он смеяться над Биллом, когда это, лежащее здесь — Билл? Эти кости, розово-белые и чистые; — Билл!..

Он отвернулся. Да, конечно, Билл его бросил. Но все же он не возьмет золота и не будет сосать его костей. Впрочем, подумал он, Билл это сделал бы — случись только все наоборот.

Он подошел к луже воды, наклонился над ней, ища пискарей, и вдруг отдернул голову, как будто его ужалили. В воде он увидел свое собственное отражение — такое страшное, что он был потрясен. В луже плескались три пискаря, но она была слишком велика, чтобы можно было вычерпать из нее воду. После нескольких неудачных попыток поймать их котелком, он оставил это намерение. Был он так слаб, что боялся упасть в воду и утонуть. Поэтому он и не решался довериться реке и продолжать путешествие на каком-нибудь странствующем бревне, выброшенном на песчаный берег.

За этот день расстояние между ним и кораблем уменьшилось приблизительно на три мили. В следующий день — на две, ибо он уже мог только ползти, подобно тому, как полз Билл. В конце пятого дня корабль находился еще в семи милях от него, а он не в силах был делать больше одной мили в день. Но индейское лето все еще держалось, и он продолжал ползти, временами падая от слабости, перекатываясь с бока на бок. Все время за собой он слышал кашель и сопение больного волка. Колени человека превратились — так же, как и его ноги, — в сырое мясо, и хотя он завертывал их в куски рубашки, оторванные от ее спины, они оставляли за собой на мху и на камнях красный след. Раз, обернувшись, он увидел, что волк жадно лижет этот кровавый след, и он вдруг понял, что ждет его, если... если он не поймает этого зверя! И тогда разыгралась одна из самых страшных трагедий: больной ползущий человек, больной прихрамывающий волк — два живых существа — тащились, умирающие, через пустыню, охотясь друг на друга.

Если бы волк был здоров — пожалуй, было бы легче. Но мысль о том, что он послужит пищей для этого отвратительного полумертвого существа, была ему противна. Он стал разборчив. Он снова начал галлюцинировать, и проблески сознания становились все реже и короче.

Раз он проснулся от сопения у самого его уха. Волк неловко отпрыгнул, теряя устойчивость и падая от слабости. Это было нелепо, почти смешно, но отнюдь его не забавляло. Впрочем, он не боялся. Ему было уже не до этого. Но мысль его оставалась ясной, и, лежа, он обдумывал положение. Корабль был не более как в четырех милях от него. Он видел его явственно, протерев глаза для того, чтобы смахнуть расстилавшийся туман. Он видел также парус небольшой лодки, прорезывавшей воду блестящего моря. Но ему уже не проползти этих четырех миль! Сознание это давало ему своего рода спокойствие. Он знал, что не может проползти даже и одной мили. И все же он страстно хотел жить. Было бы бессмысленно умереть после всего того, через что он прошел! Он не мог примириться с такой судьбой. Умирая, он отказывался умереть. То было явное безумие: находясь в самых когтях смерти, он бросал ей вызов и вступал с нею в решительную схватку!

Он закрыл глаза и стал тщательно собираться с силами, пытаясь не отдаваться смертельной слабости, постепенно охватывавшей — подобно нарастающему приливу —





все его существо. Эта смертельная усталость была в самом деле похожа на морской прилив. Она двигалась, приближалась и постепенно затопляла сознание. Иногда он чувствовал себя почти затопленным ею, и ему удавалось осиливать беспамятство только моментами. В результате какого-то странного душевного процесса воля его напрягалась и он мог сопротивляться наступающему его забытью.

Терпение волка поражало. Но не менее поразительно было терпение человека. В течение половины дня он лежал без движения, борясь с забытьем. По временам томление нарастало в нем, и он снова начинал галлюцинировать. Но все время — и бодрствуя и в полубытьи — он прислушивался к хриплому дыханию вблизи себя.

Вдруг он перестал его слышать. Он медленно очнулся от сна и почувствовал, что чей-то язык лижет его руку. Он ждал. Зубы, схватившие его тело, медленно сжимались; давление их постепенно увеличивалось. Волк напрягал последние силы, чтобы вонзить зубы в добычу, которую он так давно поджидал. Но человек тоже долго ждал, и укушенная рука схватила волка за челюсть. Медленно — волк едва-едва боролся, а рука слабо его держала — другая рука тоже потянулась, чтобы схватить зверя. Через несколько минут человек всем своим весом опрокинулся на зверя. Руки были слишком слабы, чтобы задушить волка, но он прижался лицом к пушистому горлу, и рот его был полон шерсти. Через полчаса человек почувствовал в своем горле какую-то теплую струю. Это не было приятно... Словно расплавленный свинец вливался ему в желудок. Он глотал, напрягая всю свою волю. Затем он перевернулся на спину и заснул.

\* \* \*

На борту китобойного судна «Бедфорд» находилась научная экспедиция. С палубы кто-то заметил на берегу странное существо. Оно двигалось по песку к воде. Определить, что это за существо, члены экспедиции не могли и, будучи любознательными, сели в лодку и отправились к берегу. Там они увидели некое существо — правда, еще живое, но которое едва можно было назвать человеком. Слепое и без сознания — оно извивалось по земле точно громадный червяк. Большинство его движений было безрезультатно, но оно все же проявляло большое упорство. Извиваясь и перекачиваясь, оно подвигалось вперед со скоростью приблизительно нескольких десятков футов в час.

Три недели спустя человек лежал на постели китобойного судна «Бедфорд» и со слезами, струящимися по исхудалому лицу, рассказывал, кто он и что пережил. Он говорил несвязно о своей матери, о солнечной местности в Южной Калифорнии, о доме среди апельсиновых рощ и цветов.

Через несколько дней он сидел за столом с учеными и офицерами корабля. Он наслаждался видом большого количества поданных блюд, ревниво следя за тем, как исчезала пища. Каждый съедаемый кусок он провожал взглядом, полным глубокого сожаления. Его преследовал страх, что запасы провизии иссякнут. Он был в здравом уме, но за едой ненавидел этих людей и постоянно расспрашивал повара, юнгу, капитана про запасы провизии. Они его успокаивали бесчисленное число раз. Но он не верил и подглядывал в кладовую, чтобы удостовериться собственными глазами.

Заметили, что человек этот полнеет. Он становился толще с каждым днем. Ученые качали головами и строили теории. Они ограничили его порции за столом, но, несмотря на это, он все полнел — словно надувал под своей одеждой.

Матросы смеялись. Они знали, в чем тут дело. И когда ученые стали за ним следить, они тоже узнали. Они увидели, как он крадется после завтрака и, подобно нищему, с протянутой рукой, упрасивает матроса. Матрос смеется и дает ему кусок морского сухаря. Тот жадно его схватывает, любит им, как скупец золотом, и прячет за пазуху. То же он проделывал и с подачками других матросов.

Ученые не показали виду. Они оставили его в покое, но незаметно осмотрели его постель. Она была обложена кругом сухарями, и в матрасе оказались сухари, каждый





уголок и щель были забиты крошками. И однако он был в здравом уме. Он только принимал меры против возможного голодания. Он должен выздороветь от этой навязчивой идеи, говорили ученые. И в самом деле, он выздоровел раньше даже, чем якорь «Бедфорда» загремел в бухте Сан-Франциско.

## Татьяна Краснова «Приоткрыть окно»

Об авторе | Татьяна Викторовна Краснова – москвичка, преподаватель английского языка на факультете журналистики МГУ им. Ломоносова, соучредитель фонда помощи российским детям с болезнями центральной нервной системы «Галчонок», координатор интернет-сообщества «Конвертик для Бога», помогающего детям из стран бывшего СССР. В «Знамени» публикуется впервые.

Иногда мне снится сон, что ты вырос, а я состарилась. Это очень хороший сон. В нем обычно присутствует вокзал Святой Люции в Венеции. Я встречаю поезд, который привез тебя, взрослого, из Гамбурга или Брюсселя. В моем сне ты изучаешь в тамошнем университете биологию, философию или даже медицину.

Я иду вдоль перрона, опираясь на трость, вглядываюсь в лица, а ты бежишь мне навстречу, высокий и очень красивый. Плечи у тебя широкие, и кудри рыжие, а глаза такие же, как сейчас, — насмешливые. И ты обнимаешь меня и говоришь: «Не плачь!».

А я еще и не начинала плакать, я только сейчас начну, глядя тебя, двадцатипятилетнего, по плечу...

— Не плачь!

— Не буду. Не буду.

И мы выходим с тобой из вокзала, и вокруг нас шумит, звенит и переливается цветная карнавальная Венеция, которую тысячу лет назад я обещала тебе, как обещают игрушку, как обещают велосипед, как обещают: «Вот мы поедем в Африку, и я куплю тебе льва!».

Мы тогда сидели с тобой в маленькой белой комнатке, которую называют боксом, и тебе было без двух месяцев четыре года, и возле тебя стоял умный прибор с разноцветными кнопками, и от тебя к прибору тянулась длинная трубочка. И ты был привязан за эту трубочку к «капельнице», и из нее в тебя переливалась «химия». От этой «химии» тебе не хотелось есть, пить и играть, но я принесла тебе маленький смешной кораблик с настоящим винтом, и твоя мама налила нам теплой воды в таз. И ты вдруг заинтересовался, сел на кровати, и мы с мамой, ломая ногти об дурацкие мелкие шурупчики, наконец вставили в кораблик батарейку, и он загудел винтом, взбивая воду в тазу...

Мама твоя укоризненно шептала: «Вы его балуете!», а я-то тогда уж точно знала, что балую не тебя, а себя, потому что это такое счастье — слышать твой смех, что за него



не жалко отдать все кораблики в мире. Даже те, что швартуются сейчас у венецианских причалов под крик матросов: «Ferrovia!».

В моем сне я везу тебя на Сан-Марко, и мы пьем с тобой кофе в безумно дорогом «Флориане», и оркестр играет нам как минимум Штрауса, и голуби садятся на столик, и черт с ними, лишь бы тебе было смешно...

И ты рассказываешь мне про биологию, философию или даже медицину, и я задаю тебе какие-то важные вопросы, а потом роюсь в огромной старушечьей сумке и ставлю на стол перед тобой игрушечную гоночную машинку.

Потому что произойти, конечно же, может все что угодно, но пока я жива — при каждой нашей встрече я буду дарить тебе машинку.

И ты улыбаешься, и сжимаешь ее в кулаке, и я просыпаюсь от собственных слез...

\* \* \*

Впервые я вижу тебя в первый день месяца марта, в больничном коридоре.

Это очень красивый коридор: стены в нем выкрашены светлой краской, на полу — желтый линолеум, на скамеечках — куча игрушек, а вдоль стены — аквариум с тропическими рыбками. Снаружи на двери — табличка. На табличке длинное слово: «Онкогематология». Это значит, что здесь лечат рак крови. Больница — детская, и это, по умолчанию, означает страшный и невероятный кошмар, громадный и холодный, как Северный Ледовитый океан.

Мы все — и родители, и доктора, и волонтеры — суетимся на берегу этого океана.

У меня мало времени, я пришла на полчаса, у меня встреча на другом конце стилого ледяного города, мне надо бежать, но тыходишь ко мне, и я замираю. У тебя фантастические глаза. Строгие и серьезные. Потом я узнаю, как ты можешь смеяться одними глазами, но это будет потом...

На тебе спортивные штаны и толстая фланелевая рубашка, а на лице — маска. Смешная детская маска с рисунками. Я и не вижу-то ничего, кроме твоих глаз. В руках ты мнешь розовый пластилин, и это можно считать поводом для знакомства.

— Как тебя зовут? — спрашиваю я. — И что ты лепишь?

У тебя очень красивая мама. Измотанная, как большинство здешних мамочек, но очень красивая. И не очень уж молодая. Постарше большинства юных девочек, годных мне в дочери. Потом я узнаю, что ей за сорок, и ты — поздний ребенок.

Мама пытается быть вежливой:

— Скажи тете, как тебя зовут!

— Кошка, — говоришь ты.

— Что?

Маска приглушает звуки, и я не понимаю.

— Кошка. Я леплю кошку.

Вот оно что...

— А это у нее лапа? — спрашиваю я.

Ты поднимаешь глаза и смотришь на меня с жалостью:

— Это спина.

Ну да. Понятно. Человек, неспособный отличить спину от лапы, ничего, кроме жалости, не заслуживает.

— Митя, — сообщаем ты, — Митя Панин. Три года.

Митя Панин, три года.

Так обычно пишут на двери стерильных боксов.

Имя, фамилия, возраст.

Я натыкаюсь на взгляд твоей мамы и пытаюсь не отвести глаза.

Оказывается, я знаю тебя, Митя Панин. Мы говорили про тебя с доктором, спокойным серьезным доктором, пару дней тому назад. Доктор тогда не был ни спокоен,



ни серьезен, он то снимал, то надевал очки, и без нужды шелестел по столу какими-то бумагами. Видно было, что на душе у доктора мутно, и больше всего ему хочется закрыть за собой белую дверь отделения детской онкогематологии и уехать куда-нибудь в отпуск, в лес или на море. Говорили мы, собственно, не о тебе, а о том, что доктор устал, и все его коллеги устали, и что это больница, а не хоспис, а иногда нужен именно хоспис, то есть место для тех, кого медицина не умеет вылечить. Для тех, кого надо проводить достойно, а провожать-то доктор как раз и не умеет, его учили лечить, а не провожать, а это совсем особая наука... А словосочетание «дет-ский хоспис» до сих пор вызывает такую панику, как будто паникой и правда можно остановить смерть, и самое главное — запретить «дома смерти» для детей, а уж старуха с косой сама сбежит, напугавшись запрета...

— Вот Панин, — сказал доктор. — Знаете Митю Панина?

— Нет.

— Ну и не надо, все равно уж...

— Так плохо? — спросила я.

Доктор махнул рукой и снова снял очки.

Лейкоз. Рефракторное течение. Это очень плохое слово — «рефракторное». Одно из первых страшных слов, которые я узнала в больнице. Это значит, что ты «не отвечаешь» на лечение. Тебе «капают» самые лучшие лекарства, проводят самую суровую терапию, а ты — «не отвечаешь».

Врачи бьются уже полгода. Тебя смотрят серьезные пожилые профессора и молодые европейские гении. Твой доктор выдумывает новые «протоколы» лечения. Пробует то и это.

И у них у всех ничего не получается. Не выходит. Твоя болезнь намного сильнее, чем все они вместе взятые.

«По-хорошему», то есть — по правилам, тебя надо выписывать домой. В маленький городок на Волге. Там у тебя папа, сестра, любимые игрушки. Там тебя нужно баловать, как балуют только таких детей...

Все разрешать, всему потакать, не боясь «испортить». Потому что у тебя нет времени на то, чтобы «испортиться».

— Ну что же ты?! Лепи!

Ты недоволен мною. Еще бы. Доверил неизвестно кому самую важную, шестую ногу, а она сидит, комкает пластилин и смотрит мимо...

— Мы будем делать экспериментальную химию, — вдруг говорит твоя мама. Тихо говорит, горячим заговорщицким шепотом, мне одной. — Это шанс.

— Это шанс, — повторяю я эхом.

— Я подписала согласие.

— Правильно.

Как будто спрашивала она меня, правильно или нет... Как будто есть хоть кто-нибудь на свете, кто имеет право ей советовать...

Шестая нога готова. Мы прикрепляем ее к кошачьему телу, и ты, осмотрев работу, делаешь широкий мужской жест:

— Бери. Дарю.

Я бережно заворачиваю кошку в салфетку и слышу деловитое:

— Ты когда ко мне придешь?

Смотрю на маму.

— Митенька, может, у тети нет времени?

Мама готовит мне достойный путь к отступлению. Так, чтобы я могла струсить «красиво», не огорчив Митю.

— Можно мне прийти? — спрашиваю я.



Она улыбается.

Мы торопливо и нескладно обмениваемся телефонами и именами.

Она про меня слышала и записывает — как слышала: Татьяна Викторовна.

Я записываю: Ника.

— Послезавтра — можно?

— Конечно. Конечно.

Не знаю, зачем я беру этот день паузы.

Ясно, что весь день я думаю только о тебе.

В университете — три пары, мы что-то переводим, толкуем со студентами про английскую грамматику...

Моя основная работа — университет. Уже несколько лет это не только основная работа, а еще и убежище, тихая пристань, мир, где все здоровы, а самая страшная проблема — несданный зачет.

У меня в сумке, в маленькой пластмассовой коробочке, лежит завернутая в вату шестиногая кошка.

После работы я еду в магазин игрушек.

Некоторое время хожу вдоль стеллажей...

Мимо кукол, мимо погремушек — ты уже взрослый...

В больницу нельзя принести плюшевого кота с хитрой мордой, потому что по нашим санитарным нормам плюш запрещен — в нем микробы. Подержав кота в руках, сажаю его на место. Мне очень нравится кот, но я стараюсь представить, что понравилось бы тебе...

Вспоминаю твой серьезный, сосредоточенный, очень мальчишеский взгляд.

Я покупаю алую спортивную машину «на пульте» и батарейках.

Пройдет четыре месяца, и веселая продавщица в магазине запомнит меня и будет встречать радостно:

— Вот новая машинка, такую вы еще не брали!

Наступает «послезавтра».

Меня почему-то слегка потряхивает, и я даже прислушиваюсь к себе — уж не заболеваю ли. В больнице нерушимое правило: малейший насморк — табу. «Химия» убивает иммунитет, и самая легкая, едва незаметная простуда может кончиться бедой.

Но нет, я в порядке. Просто почему-то волнуюсь.

Твоя мама встречает меня в коридоре.

Пока я переобуваюсь, переодеваюсь, натягиваю маску, мою руки с мылом, а потом тру их спиртом, она стоит рядом и улыбается. Так, словно я пришла в хорошие веселые гости.

— Он вас так ждал!

Я открываю дверь бокса. Ты сидишь на кровати, спиной ко мне, взгляд твой прикован к экрану. На экране — мультипликационный ежик, бредущий сквозь туман.

Я получаю несколько секунд форы — чтобы рассмотреть твою тонкую шейку, острые лопатки и лысый затылок. На тебе трусы и майка. От мигающего прибора на высокой подставке к тебе тянется тонкая трубка. Катетер приклеен пластырем возле ключицы, но этого я не вижу: ты не оборачиваешься.

— Смотри, кто пришел! — говорит твоя мама.

Ты смотришь на меня через плечо. И спрашиваешь совершенно взрослым тоном:

— Что так долго ехала? Пробки?

Я потом привыкну к тому, что иногда, словно забывшись, ты ведешь себя совсем как взрослый. Как будто кто-то поручил тебе роль маленького мальчика в сложном, дурацком спектакле, и ты иногда забываешь эту роль.



Я тащу из шуршащего пакета коробку, и ты замираешь, расширив глаза от восторга.

— Машина! — выговариваешь ты одними губами. — Какая машина!!!

— Это «Феррари», — сообщаю я с нарочитой небрежностью.

— «Феррари!» — выдыхаешь ты.

Твои руки подняты вверх, ладони раскрыты, пальцы растопырены. Ты не прикасаешься к коробке.

Любой мальчишка порвал бы ее мгновенно, схватил бы игрушку.

Ты едва дышишь, замерев над сокровищем, не прикасаясь руками. Не трогая.

Потом, оставшись одна в машине у больничного забора, я буду рыдать, глотая теплую воду из пластиковой бутылки, размазывая по щекам слезы. Твой страшный диагноз для меня — слова на бумаге. Можно отвлечься, отрешиться, не думать. Даже от катетера под ключицей можно попробовать отвлечься. То, что тебе запрещено трогать руками принесенный с улицы предмет, и ты привык, уже привык не трогать — отчего-то гораздо страшнее.

— Ну протри же «Феррари» спиртом, — умоляешь ты.

Мама пшикает на игрушку из специальной бутылки с распылителем.

Готово.

Ты прижимаешь к себе автомобиль, и мы с мамой перестаем для тебя существовать.

— Скажи Татьяне Викторовне спасибо!

Какое там! Точным движением крошечных пальчиков ты рассовываешь по местам батарейки, захлопываешь крышечки, и через секунду маленький бокс наполняется жужжанием машины и твоим самозабвенным визгом.

Мы с твоей мамой сидим в уголке, и она говорит быстро-быстро, тихо-тихо. Так, что я едва слышу, больше догадываюсь. Мама рассказывает о том, как вы жили в городке на Волге, как ты рос веселым человеком с рыжими кудрями, как тебя любили все соседи и как сестренка Мила гордилась тобой.

И как однажды мама заметила, что ты стал уставать, и охотно спать днем, а раньше не спал, совсем не спал... А потом участковый врач сказал, что у тебя грипп, и все думали, что это очень плохо, что грипп...

Это обычная история, похожая на все другие истории в отделении онкогематологии.

Я слышала их много, я даже как-то привыкла к ледяному ужасу внутри, и даже как-то приучилась отключать воображение, перестала примерять на себя.

Я попала в больницу так, как попадают все, — случайно. Это потом, присмотревшись, начинаешь понимать, что случайность — это милосердно адаптированный вариант воли Божьей. Расслышанный сквозь помехи приказ. Выполняешь его, не раздумывая, а потом, время спустя, смотришь на готовый рисунок и осознаешь: вот зачем оно было... И этот штрих, и тот.

Если бы не «случайность», мы бы с тобой не встретились, Митя Панин.

Если бы не дешевенькая цифровая «мыльница», о которой мечтала «взрослая» девочка Катя...

Я иногда давала денег «на детишек».

Оставляла в ящике для пожертвований в храме. Передавала через студенток, девочек-волонтеров. Покупала иногда незначительную чепуху вроде игрушек, стирального порошка, подгузников...

Мало ли чего не хватает в больницах нашей щедрой Родины.

Натолкнувшись на объявление в Интернете, отсылала какую-то мелочь. Знаете, как это бывает? Сделал что-то незначительное, и как будто плюсик себе поставил. Дескать,





молодец, повел себя как приличный человек. Я старалась вести себя прилично. По правде сказать, я старалась при этом не сильно напрягаться.

Сделать последний шаг, перешагнуть порог, честно нырнуть в этот леденящий ужас я не могла. Прибегала, приносила что-то к дверям, совала в руки девочкам-волонтерам: «Вот, возьми, передай!».

Катя хотела фотоаппарат.

Строго говоря, в тот самый момент Катя не хотела ничего. Позади у нее был год в больнице, у нее не было волос, ресниц и бровей, ее непрерывно тошнило, и жить ей было, собственно, незачем. Рядом с Катей сидела мама, которой незачем было жить без Кати. Мама придумывала Кате желания.

Так расставляют вешки по бесконечному болоту, обозначая тропинку через топь. Новая книжка. Вот принесут новую книжку. Ты же хочешь книжку? Новая косынка. Красивая новая косынка. Хочешь? Фотоаппарат. Хочешь? Ты будешь снимать всех, кто придет. Друзей-волонтеров. Доктора. Маму. Смешную щекастую годовалую соседку по боксу, Аньку. Хочешь?

Человек ведь жив, пока он чего-то хочет. Перестал хотеть — умер.

Катя захотела фотоаппарат.

Мы с подружкой-фотографом скинулись, купили «мыльницу».

— Передашь? — спросила я знакомую девочку-волонтера.

— А вы сами принесите, — сказала девочка. — Катя рада будет.

Вы замечали, как это здорово у нас у всех выходит — ругать себя «за хорошее»?

«Ах, я такая доверчивая!»

«Ох, доброта моя меня губит!»

А попробуйте-ка встать перед зеркалом и назвать себя трусливой овцой...

Неприятно.

Кажется, как раз тогда я эту трусливую овцу решила в себе придушить. Ну, хоть попробовать.

А Катя, надо сказать, оказалась смешливой лукавой девицей с хорошим юмором, и даже самоиронией, что не так часто водится за пятнадцатилетними.

— Дайте умереть спокойно, — сказала Катя вместо приветствия нам, зашедшим в ее бокс с фальшивыми радостными лицами массовиков-затейников.

— Ну, умереть ты успеешь, — ответила я. — А вот не хочешь ли для начала поступить в университет?

— Я? В университет? — изумилась Катя. — Да разве я смогу? Я, хоть и отличница, а в деревенской школе училась...

— И к тому же помираешь, — «подбодрила» я, — значит, только на заочку. На журфак. Ты, говорят, стихи какие-то пишешь, рассказы... Хочешь?

— Туда ж только по блату...

— Ага, — согласилась я, — вот я он и есть.

— Кто?

— Блат.

— Как это?

— Очень просто. Я буду приходить и тебя учить. Готовить. Знаешь такое слово — репетитор?

— У меня будет репетитор из МГУ?! Но у нас же нет денег! Вы что, будете учить меня бесплатно?

— Нет, — ответила я. — Бесплатно я ничего делать не буду. Ты мне за это дорого заплатишь. Ты мне за это поправишься.

Надо отдать Кате должное, она расхохоталась. Мама Катина отвернулась к окну, а Катя расхохоталась.



Мы стали учиться.

Ее тошнило и рвало. Она не могла сидеть и лежать. У нее болело все тело, сожженное дотла беспощадной «химией».

На ее экзаменах я сидела под дверями. Таскала ее в туалет, умоляла собраться, вернуться в аудиторию, дописать.

Нам было не просто тяжело — мы умирали. Не в шутку. Всерьез.

Нам сто раз казалось, что проще бросить, отказаться, уступить.

На творческий конкурс мы с мамой волокли ее на руках.

Потом я узнала, что она писала сочинение про больничных волонтеров.

Творческий конкурс прошла с высоким баллом.

А знаете, что я скажу вам? Знаете? Три года спустя — три долгих года спустя! — на высокой «белой лестнице» факультета журналистики поймала я за руку ясноглазую веселую девицу, только немножко похожую на ту, прежнюю, в синеву бледную, голенастую девочку со страшными черными кругами вокруг глаз...

Поймала за руку и сказала строгим учительским голосом:

— Это что это ты коллоквиум по «античке» прогуляла? Мне инспектор курса доложила!

И Катя — настоящая, живая Катя! — принялась оправдываться так, как оправдываются все юные прелестные прогульщицы, у которых весна на дворе, ветер в голове, и столько, столько самых важных живых вещей отвлекают их от мертвых поэтов и философов!

И я, делая строгое лицо, думала про себя: «Господи, за что Ты так со мной, Господи?! Мне же вовек не расплатиться!». И Катя вдруг рассмеялась и обняла меня, взрослую, преподавателя, и незнакомые студенты смотрели изумленно...

А потом... Что уж там, потом пошло легче. Потом я приходила в отделение со смешными пальчиковыми игрушками, и, заходя в бокс, говорила из-за двери «смешным» голосом: «Это кто тут живет?!». И незнакомые маленькие люди, истыканные злыми иглами, отравленные жестокой «химией», принимали правила игры, прятались под одеяло, смешно фыркали...

Они, по большинству, необычайно снисходительны к нам, эти насельники принудительных детских монастырей с белыми стенами и стерильно чистыми полами.

Я иногда приходила рисовать с девочками принцесс, я приносила мальчишкам компьютерные журналы и новые игрушки...

В остальное время я преподавала в университете и собирала, собирала, без конца собирала деньги на чьи-то анализы, чьи-то препараты...

Словом, я вела себя отлично.

Я была герой. Без малого — Бэтмен.

Мне явно полагался приз.

Ну и вот, я его получила.

Ты вручил мне розовую кошку.

Не знаю, приходилось ли вам замечать одну забавную штуку?

Вот живешь ты разумно и правильно, аккуратно отмеряя внимание, жалость, привязанность. Ты не равнодушен, не безразличен, ты, наоборот, вполне заинтересован и умеренно «вовлечен» в ситуацию. Ты остаешься сильным, умным, веселым, независимым. Взрослым. Защищенным. Ты даже — омерзительное слово — эффективен. Ты — привилегированный член общества. Человек в здравом рассудке и с чистой совестью.

А потом приходит любовь и внезапно лишает тебя всех привилегий.

И вот стоишь ты перед нею как есть — без щита и меча — и ясно понимаешь, что отступать поздно.



Нету у тебя тылов, нет запасных аэродромов, и выбора у тебя больше нет, и выхода...

— Хватит разговаривать, — сурово говоришь ты, — ничего нет хорошего все время разговаривать.

Мы с твоей мамой замолкаем.

— Расскажи мне про «Феррари»!

Что уж там я бормочу тебе про болиды, гонки, пит-стопы, про пилотов «Формулы-1» — думаю, никакой критики не выдерживает этот текст, но ты слушаешь, прижимая машинку к груди, и головенка твоя клонится на подушку, веки тяжелеют, и мама говорит шепотом:

— Пойдемте на кухню пить чай. Он спит.

Мы тихо выходим из бокса, и я прикрываю за собой дверь.

На кухне в этот раз пусто, и мы долго сидим с твоей мамой за длинным столом, покрытым «веселенькой» клеенкой, сидим над остывшим чаем и говорим. Говорит она, я слушаю.

В общем, возможность поговорить — вещь довольно существенная. Особенно тогда, когда ты вот уже полгода заперт один на один с больным малышом в крошечном белом боксе и в голове у тебя только ужас, ужас без начала и конца.

Мы становимся друзьями.

Точнее, сначала мы становимся хорошими приятелями.

Друг у тебя к тому времени уже есть. Настоящий друг, который должен быть у каждого мужчины, неважно, сколько ему при этом лет. Твой друг, например, немного постарше тебя. Тебе скоро будет четыре, а ему, скажем, тридцать или даже больше. Друга зовут Егор. Он — юрист. Он занимается какой-то очень узкой, очень хорошо оплачиваемой областью международного права, и где-то там, за пределами белого бокса, у него есть дорогие костюмы, шелковые галстуки, престижные автомобили и офисы с вышколенными секретаршами. К тебе в бокс он приходит в голубом стерильном халате и сменной обуви, с маской на лице. Под стерильным халатом у него линялые джинсы и майка. Он приходит для того, чтобы кидаться подушками, запускать машинку, вести мужские разговоры...

Егор — очень успешный человек. В основном, мне кажется, потому, что у него есть такой друг, как ты.

Вообще, попав в больницу, я узнаю кое-что новое про успешных, красивых и здоровых людей. Нет, кое-что я узнаю и про несчастных и больных, но больше — про красивых, успешных и здоровых.

Для меня, к примеру, не было секретом, что пережившие голод и потери старики приносят в помощь детишкам свои мелкие гроши, часто вынутые из «гробовой» заначки. И про учителей с инженерами я тоже все знала. А вот про нежных и прелестных дев, которые передвигаются по городу в сверкающих лимузинах, я думала хуже, чем они того стоят.

Ко мне, представьте себе, пришла как-то раз вот такая дева, юная, сияющая, улыбчивая. Точнее, не пришла, а приехала. Ее привез вежливый шофер на машине «Бентли». Если вы не знаете, что такое «Бентли» — поверьте мне на слово: это хорошо и дорого. Уж я-то в машинках разбираюсь...

Так вот, того, что принесла в конвертике дева, хватило на операцию и химиотерапию мальчику из украинского села. Папа мальчика чуть не плакал, когда я вручила ему конверт: все никак не мог поверить в белокурую красавицу на дорогой машине, которой оказалось не наплевать, выживет или умрет деревенский пацан Андрюшка.

А с красавицей мы подружились.



Она живет свою богатую, обеспеченную жизнь, а я раз в месяц плачу ее деньгами за чью-то «химию»...

Егор.

Мне, конечно, не сравниться с Егором. Я и не пытаюсь.

Ну разве могу я устроить для тебя охоту на крокодилов, летом, в Тропаревском пруду?

Но до лета у нас еще есть время.

Мы переживаем весну.

В самом начале апреля я уезжаю в Венецию. Ненадолго, дней на десять. Но в эти десять дней попадает очень важная для тебя «новая экспериментальная химия», и, самое главное, твой день рождения.

Я долго брожу по городу, покупаю тебе футболку с разноцветными гондолами, звоню в Москву твоей маме утром и вечером.

Ты реагируешь на химию. Тебе плохо, тебя тошнит, но главное — ты реагируешь.

Это огромное счастье, что ты «реагируешь».

По вечерам я рассказываю о тебе монахиням в монастыре кармелиток, куда приезжаю вот уже много лет. Орден закрытый, сестры проводят дни в молитве, мы не видим друг друга, но вечером, когда я прихожу в parlatorio, они встречают меня вопросом: «Как мальчик?».

Я рассказываю им новости из Москвы, в воскресенье приходит священник, и мы служим мессу с особой интенцией — молитвой о твоём выздоровлении.

Потом я прилетаю в Москву.

Едва бросив вещи дома, мчусь в больницу.

Тебе хуже.

Никто не знает, отчего ты «ухудшился», и твой врач устало говорит, что все бесполезно, что мы даром мучаем ребенка.

Твоя мама отвечает: «Я не сдамся».

Я молчу. Что я могу сказать? Пока нас никто не видит, мы плачем в коридоре. В боксе плакать нельзя.

Я уезжаю, оставив ее у твоей постели. Взяв с нее страшную клятву, что, если ночью тебя заберут в реанимацию, она позвонит мне, и я приеду.

Приеду сидеть на этой проклятой лавочке перед запертой белой дверью реанимационного отделения с нею вместе.

По нашим страшным законам в реанимацию мам не пускают. Мамы могут занести микробов. Кроме того, не все они умеют вести себя сдержанно и корректно, глядя на собственное умирающее дитя...

Проходит бессонная ночь.

Рано утром я звоню Нике.

— Жив?

— Жив.

— Приехать?

— Нет, пока не надо.

— Ты клянешься, что позвонишь?

— Я клянусь, что позвоню.

Она звонит, когда передо мной сидит третий курс. Третьему курсу скоро сдавать экзамен, мы разбираем какой-то сложный текст, но телефон трещит вибросигналом, и я, едва извинившись, вылетаю в коридор. Ноги мои делаются соломенными, сердце не попадает в ритм.

— Что, Ника?! Что?!

— Ему лучше, — говорит твоя мама, — врач сказал, может быть, это ремиссия.



Передо мной качается стена университетского коридора, и я сползаю на лавочку. Третий курс обступает меня, кто-то приносит пластиковый стаканчик с водой, и я пью, расплескивая.

Все хорошо. Все хорошо.

Наша надежда живет недолго.

Доктор изучает бесконечные анализы, тебя таскают на обследования. Ради тебя приезжает какой-то великий профессор. Назначают консилиум.

— Да поймите вы, никто из нас не Бог, — говорит профессор, которого я ловлю в больничном коридоре. — Если вы хотите им добра — уговорите маму отвезти мальчишку домой. Право слово, лишние мучения... Мне жаль. Очень жаль.

Мы с твоей мамой сидим в коридоре на скамеечке, под дверью бокса. На дворе — теплый сияющий май, из маленького городка на Волге к тебе приехали сестра и папа, и ты хохочешь взахлеб, отпуская надутый до половины шар летать от стены к стене, от пола к потолку. Ты очень счастлив, потому что любишь сестренку и отца и потому, что скоро вы поедете домой.

Ты совсем не помнишь родного города. Когда я расспрашиваю тебя про Волгу, про детский сад, про всю до-больничную жизнь, ты морщишь лоб, пытаешься вспомнить, а потом принимаешься вдохновенно сочинять, как дома ты катался на слоне.

Вообще, у тебя удивительное воображение. Любая игрушка, попавшая в твои руки, любая моя неловкая сказка рождает поток твоей невероятной фантазии. Мы с тобой путешествуем по воздуху, к нам прилетают ручные драконы, оранжевые тигры приносят нам клубничное мороженое, под кроватью живет волшебник, у которого в кармане куртки шумит самое настоящее море, стоит только расстегнуть молнию — и корабли входят в порт и чайки кричат в небе.

Однажды девочки-волонтеры приносят тебе холщовую сумку.

Это одно из больничных «поветрий». То все хором расписывают витражными красками фонарики, то рисуют на чашках. Сумки принято разрисовывать специальными фломастерами для ткани и дарить мамам, врачам или просто друзьям.

Удивительно, но ты не любишь рисовать.

Позже я понимаю, что это просто руки не успевают за твоим воображением.

За сумку, однако, ты берешься охотно.

Через пять минут все готово. Холстина исчеркана вдоль и поперек самыми яркими цветами.

— Что это? — спрашиваю я.

— Это твоя машина.

— И где здесь моя машина?

Ты ждешь этого вопроса. От тебя не отделаешься дурацким взрослым «ах какая красивая бибика!».

— Твоя машина только что промчалась мимо! — гордо отвечаешь ты. — Это след! Смотри, как ты спешила ко мне!

— Надо набрать с собой обезболивающих, — говорю я. — Там ведь нет никаких лекарств...

— Ничего там нет, — говорит Ника, и мы внимательно изучаем до блеска отдраенный линолеум под нашими ногами. Так, будто на линолеуме этом написано, что нам дальше делать и как быть.

Доктор прав: тебе делается хуже. Начинается пневмония. Ты едва можешь дышать, захлебываешься кашлем, бледнея до страшной синевы. Мы тянем время. И мне, и твоей маме нестерпимо страшно думать об отъезде.

Люди вокруг тебя говорят о смерти.





Ты кажешься им маленьким, и они не всегда понижают голос. Они думают, ты не понимаешь.

Ты почти ничего не ешь.

В один из этих страшных дней мы сидим на кухне, пока твоя мама прибирается в боксе, и я уговариваю тебя выпить хотя бы чаю.

На кухню приходит психолог из соседнего отделения, веселая шумная женщина, от которой мне все время хочется спрятаться в угол.

— А вот мы сейчас Митю покормим! — возвещает она, оценив ситуацию.

Из холодильника появляется сосиска, и психолог начинает разделять ее на столе, вырезая что-то причудливое.

— Я не буду есть, — сообщаем ты.

— Да ты же не знаешь, КАКАЯ это будет сосиска! Вот Татьяна Викторовна скажет тебе, что это будет волшебная сосиска!

— Волшебная? — спрашиваешь ты скептически.

— Конечно! — восклицает психолог.

— Не думаю, — тихо говорю я.

Ты киваешь понимающе.

Сосиска отправляется в микроволновку и вылезает оттуда, закрученная завитками.

— Волшебная сосиска! — объявляет психолог. — Сейчас Митя тебя съест!!!

— Странно, — говоришь ты вполголоса. — Я же сказал, что не буду есть. Она меня не слышит?

— Она хочет как лучше, — отвечаю я. — Нам всем важно, чтобы ты поел, понимаешь?

Ты смотришь на меня жалобно и задумчиво, потом придвигаешь к себе изувеченную сосиску и принимаешься ковырять ее вилкой.

Психолог празднует победу...

В один из дождливых, уже почти летних дней мы гуляем по больничной территории. Ты не можешь идти сам, и я везу тебя, совершенно взрослого, в дурацкой раскладной коляске. Я поручаю тебе держать над собой раскрытый цветной зонт, и ты говоришь со мной оттуда, из-под зонта.

Мы болтаем о какой-то чепухе, и вдруг ты замолкаешь, а потом задаешь вопрос. Взрослым, будничным голосом. Ты спрашиваешь:

— Скажи, я жив или умер?

Я замираю, с размаху попав в сердечный перебой, выдыхаю, считаю до трех, собираюсь, как боксер после пропущенного удара. Ты ждешь ответа.

— Конечно, ты жив, — отвечаю я. — Мы с тобой говорим, гуляем...

— Глупости! Ты же знаешь, что разницы нет, жив человек или умер.

— Как это? — спрашиваю я.

— Очень просто. Когда я умру, все будут думать, что я на самом деле умер, а я буду жить на облаке. Ты придешь ко мне играть на облако?

Мне не хватает воздуха. Под навесом скамейка, я закатываю туда коляску, и сажусь напротив тебя. Теперь мои глаза почти вровень с твоими.

— Я не знаю, как играют на облаке, — говорю я.

Ответ следует немедленно, и я понимаю, что ты над этим думал:

— Все просто. Ты играешь, а под ногами не земля, а пух. Придешь?

Теперь моя очередь думать. Ты ждешь. Мы оба понимаем, что у нас очень важный разговор, в котором нельзя врать и отделываться пустыми фразами.

— Понимаешь, я не уверена, что меня пустят к тебе на облако, — решаюсь я, — то есть, понимаешь, ты-то будешь там играть, это стопудово. А вот меня — не знаю, пустят меня или нет. У них там на облаке свои правила.



— Чепуха, — с великолепной уверенностью говоришь ты, — пустят. Я попрошу, и тебя пустят.

— Если ты попросишь — пустят, — не раздумывая отвечаю я.

— Придешь?

— Приду.

В тот день мы больше не говорим ни о чем важном. Приходят папа с сестренкой, вы возитесь с какой-то игрушкой, и все хорошо. Только ты кашляешь. Ты сильно кашляешь.

Дата выписки назначена.

Накануне тебя смотрит новый консилиум, профессора читают бумаги, рассматривают результаты последних тестов. Твою маму вызывают в кабинет заведующего отделением. Из кабинета она выходит мертвой. Она идет, дышит, смотрит, но, кажется, из нее выдернули стержень, и она не падает только по инерции, только потому, что привыкла стоять.

— Они сказали — все.

В тот день мы покупаем тебе машину.

Тебе совсем худо, кашель бьет тебя, ты запиваешь его водой, но он унимается только на минуту. Мама твоя складывает — а точнее, перекладывает с места на место какие-то вещи. Мама готовится к выписке. Удивительно, каким количеством барахла немедленно обрastaет человек, стоит ему поселиться где угодно, даже там, где жить нельзя в принципе. Впрочем, так ли уж немедленно... Вы с мамой прожили в больнице год.

Я делаю вид, что помогаю.

Ты лежишь лицом к стене, а потом вдруг поворачиваешься и говоришь:

— Я видел самую лучшую машину в жизни.

— Где? — спрашиваю я. — На улице?

— В магазине. Я расскажу тебе. Она такая большая, что я смог в нее сесть и ехать.

Она почти как настоящая, только лучше настоящей.

— Папа возил его гулять, — объясняет мама, — они были в игрушечном магазине.

— И там была эта машина?

— Да.

— Собирайтесь, — говорю я, — мы едем за машиной.

— Нельзя, — отвечаешь ты взрослым голосом, — она дорогая. Мы не можем себе позволить.

Господь милосердный, как я боюсь этого твоего усталого взрослого голоса...

— Собирайтесь.

Мы больше не должны ни о чем спрашивать врачей. Нам теперь все можно. Нас почти выписали...

Мы выходим за территорию больницы. Я, мама, ты в коляске. До магазина несколько минут пешком. Но мы идем дольше, гораздо дольше. Ты кашляешь. Мы останавливаемся, и ты пьешь воду.

Машина и правда здоровенная. Блестящая, красная, с рулем, кожаным сиденьем и педалями внизу. Можно крутить педали и ехать, но на это едва ли хватит твоих сил.

— Тут есть аккумулятор, — говорит продавец, — она может ехать сама. На лице у продавца — смесь жалости и страха, и от моего взгляда он отворачивается.

Никогда, никогда не смотри так на того, кому плохо...

Я вытаскиваю кошелек. Выгребаю всю наличность.

Обратно мама тащит коляску, а ты, неимоверно гордый, едешь на машине. На аккумуляторе.



Ты очень слабенький, ты кашляешь, но ты счастлив.

— Так дорого! — говорит мама.

— Плевать, — отвечаю я.

Мы готовы к выписке.

Накануне коллега по работе приносит мне матрал.

Это запрещенные таблетки. Почти наркотик. Купить можно только по специальному рецепту. У нее матрал остался после смерти мамы. Матрал — это обезболивающее. Когда я думаю, что он тебе потребуется, мне делается так страшно, что от страха ломит затылок.

Запершись в факультетском туалете, я вскрываю упаковку, перекладывая пилюли в пузырек от витаминов.

Я собираюсь дать их твоей маме на вокзале.

На крайний случай, хотя обе мы знаем, что в КРАЙНЕМ случае матрал ни черта не помогает...

Но вокзала не случается.

Твоя мама звонит мне ночью, и я слышу в трубке: «Мы никуда не поедem. Я буду бороться».

Честно говоря, твоя мама застает меня с телефоном в руках. Сидя в темноте на кровати, я собираюсь звонить и просить: «Не уезжайте».

Егор вот уже пару месяцев работает по контракту в Киеве.

В Москве стоит пустой квартира Егора.

Туда вы и перебираетесь на следующий день.

Со всем барахлом, которым обросли за год в больнице, и даже с моей громадной машиной: ты наотрез отказываешься оставить ее «другим детям».

На нас сердятся.

Точнее, сердятся на меня, потому что сердиться на Нику как-то не с руки, даже тем врачам, чьи предписания она нарушает.

— Я еще могу понять маму, — говорит мне доктор, — но вы-то! Вы! Вы трезвая женщина! Это бесполезно, поймите хоть вы! Вы замучаете мальчика, вы ничего не добьетесь!

Я понимаю. Чего ж тут не понять.

С этого дня мы «вне закона».

Больница исчерпала свои возможности.

Больше нам рассчитывать не на кого. Если тебе станет хуже, приедет обычная детская «скорая», а она не сможет помочь такому ребенку, как ты. На всей территории твоей огромной страны тебе больше никто не может помочь.

Не помню, кто первым произносит слово «Германия».

Лечение в Германии стоит огромных денег.

Откуда их взять?

Больше нам не поможет ни один даже самый прекрасный фонд. При фондах работают экспертные советы. В них входят самые лучшие врачи. Советы решают, целесообразно ли посылать ребенка на лечение за границу, имеет ли смысл собирать эти огромные деньги.

Это хорошая и умная практика. Доктора редко ошибаются, за их плечами громадный опыт, они знают всех своих коллег в Америке и Европе, они знают, как лучше.

Я убеждена в этом сейчас, я была убеждена и тогда, когда твоя мама сказала: «Германия».

Но, как оказалось, есть случаи, когда самое твердое убеждение не приносит покоя.

Мы начинаем сбор «средств на лечение».

Пишем какие-то обращения в Интернете, открываем счета.



Я собираюсь с духом и звоню знакомой журналистке, своей выпускнице.

Есть, говорят, люди, которые любят телевизионную камеру. Некоторые даже стараются попасть на экран.

Я терпеть не могу своих изображений, даже на фотографиях, что уж говорить про кино. Журналистка ходит за мной второй месяц с уговорами сняться для какой-то «социально значимой» передачи. Я второй месяц отфутболиваю бедную девушку, но тут выбирать не приходится. На войне все средства хороши, а мы — на войне.

Я соглашаюсь на съемки.

Это невероятно, но, попав из больницы «домой», ты начинаешь чувствовать себя лучше.

Отменяется жесткая диета, и тебе разрешают лопать любимые котлеты с картошкой. Ты чуточку поправляешься, ты уже не такой прозрачный и хрупкий. Даже кашель, кажется, отступает.

Ты гуляешь, играешь с сестренкой, ты очень счастлив.

К съемкам мы готовимся.

У журналистки Ксюши есть целый сценарий.

Накануне мы с мамой объясняем тебе, зачем нужны съемки, как надо себя вести. Ты слушаешь нас молча, сосредоточенно катая по столу маленькую пожарную машину.

В день съемок я приезжаю рано утром. На тебя надевают новую футболку, мы с мамой пудрим носы.

— Только не реви! — говорю я.

Ника кивает, запрокидывая голову, чтоб не текли слезы. Ника накрасила ресницы. Ника красавица.

Когда в дверь звонит съемочная группа, мы с тобой идем открывать.

— Ах, какой кадр! — радуется оператор. — Вы не могли бы взять ребенка на руки и открыть нам дверь еще раз? А я пока установлю свет!

Я беру тебя на руки и уношу обратно в комнату. Ты сидишь на широком подоконнике и смотришь в коридор.

— Почему они так быстро ушли? — спрашиваешь ты.

Я объясняю тебе про свет и кадр.

На лестнице слышна возня, наконец звенит звонок.

— Ну, неси меня! — приказываешь ты.

Ты, оказывается, отлично понял принцип телевидения.

Мы входим в кадр, под яркий свет софита, ты поднимаешь тоненькую ручонку и говоришь громко: «Привет, телевизор!».

Съемки продолжают долго. Мы с твоей мамой по очереди что-то говорим в микрофон. Наконец, оператор наводит камеру на тебя.

— Мне бы хотелось снять ребенка за игрой, — говорит он.

Я высыпаю твои машинки в огромное кресло. Оператор ставит свет.

Пока он возится с аппаратурой, ты напрочь забываешь про всех нас.

У тебя пожар. Горит игрушечный дом, с воем мчит на помощь пожарная машина, ползут в небо раздвижные лестницы...

— Ай, спасите меня! — противным голосом вопишь ты.

— Кто это так кричит? — спрашивает оператор.

— Пассажирник, — отвечаешь ты.

— Пассажир, наверное? — уточняет журналистка Ксюша.

— Нет, пассажир — это хороший человек, он рыцарь. А это — пассажирник, он гад и паразит.

— И ты его спасешь?



— Спасу, — отвечаешь ты и кричишь голосом храброго пожарного: — Потерпи, мы идем на помощь!

— Зачем же спасать пассажирника, если он гад и паразит? — интересуется Ксюша.

— Он попал в беду, — спокойно говоришь ты, — а если человек попал в беду, его надо спасать. Даже если это пассажирник.

Передача выходит в эфир.

Мы имеем сокрушительный успех.

Следом выходит вторая. Приезжают журналисты с центральных каналов.

Эти съемки проходят уже без меня. Я уезжаю в отпуск.

Твоя повеселевшая мама уговаривает меня «ехать и ни о чем не думать».

Деньги так и сыплются на счет, и от этого мы почему-то решаем, что все будет хорошо.

Перед отъездом я снова говорю с врачом. Говорю не о тебе, о другом ребенке, которому собрали денег на какой-то мудреный препарат. О тебе он спрашивает коротко: «Жив?».

Я страшно обижаюсь на этот вопрос. Я просто смертельно обижаюсь. Доктор смотрит на меня грустно и устало.

Из отпуска я приезжаю в сентябре. Туда, на теплое греческое море, где нет ни слез, ни печали, а есть только оранжевые закаты над Термическим заливом и тишина, наполненная полынным запахом и стрекотом кузнечиков, туда приходит SMS от твоей мамы.

Деньги собраны.

Тебя берет на месяц клиника в Петербурге, а потом — Германия.

\* \* \*

В конце сентября вы с мамой собираетесь в Питер.

В этом городе у вас нет ни единой знакомой души.

Вот что забавно: я знаю немало взрослых умных людей, которые при упоминании Интернета поджимают губы и цедят презрительно: «Помойка».

Я живу в сети много лет, большая часть дорогих мне людей найдена именно там, на бесконечных анонимных просторах.

Поверьте мне, это чудо. Настоящее чудо.

Рождественский сочельник, за два часа до начала мессы я сижу в кафе, за окнами метет метель, мороз, и из метельной темноты ко мне приходят незнакомые люди (незнакомые, но почему-то невероятно красивые все до одного!) и приносят деньги на операцию для пятилетней таджички с опухолью мозга, и я в сотый раз борюсь с желанием поймать за руку и спрашивать, глядя в глаза: «Кто ты? Как это вышло, что ты бросил дела, замотался в свитера и шарфы, ехал через весь город ради маленькой дочки таджикской посудомойки — если завтра не ляжет на операционный стол, то умрет? Как это может быть в этом безумном мире и ненормальном городе, где всякий за себя?».

Неужели это все правда, настоящая правда — про волхвов и Рождество?

И можно — прости мне, Господи, это дерзкое сравнение — повесить в Интернете маленькую звездочку, и из темноты придут люди?

Интернет

В хосписе умирает ребенок. Девочка.

Слава Богу, обезболена. Но ничего не хочет и все время молчит. Волонтер Лена умудряется с ней поговорить. Само по себе чудо. Девочке лет шесть, и больше всего в той, нормальной жизни она любила конфеты — цветное драже в ярких пакетиках. А недавно ей рассказали, что такое драже бывает не в пакетиках, а в упаковках в виде игрушек. Пластмассовый чудик, свернешь ему голову, а там — драже. И вот ей бы так хотелось...





Глупости, конечно. Можно обойтись.

Но я даже не стану вас просить представить себе, что эта глупость, кажется, последнее, чего хочет ваш ребенок.

Лена тут же, в хосписном коридоре, выходит с телефона в Интернет и выясняет, что купить человечка с конфетной головой в Москве нельзя. Их специально изготавливают для сети магазинов «Дьюти Фри», и только в аэропортах, в ничейных зонах, их продают пролетающим мимо, красивым, здоровым и благополучным...

Я пишу просьбу в блоге: вдруг кто летит?

Через час — десяток комментариев:

— Сегодня вечером вылетаю из Стамбула.

— Через три часа лечу из Женевы...

— Дозвонилась мужу в аэропорт, час до посадки, летит из Токио, уже купил...

К ночи в хосписе появляются люди с пакетами из «Дьюти Фри».

Девочка хохочет, разглядывая десятки разноцветных уродцев с конфетными головами. Хохочет — впервые за долгие месяцы...

В одной из московских клиник мальчишка мечтает о тракторе. Это какой-то особенный немецкий игрушечный трактор, он совсем как настоящий, у него гусеницы и руль, и в нем сидит маленький тракторист, это лучший из всех тракторов, и его нет в продаже. Есть кран, и грузовик есть, а трактора нет. А надо — трактор.

Не проходит и десяти минут, и в комментариях в блоге я читаю: «Вы меня не знаете, работаю на фирме, которая продает эти игрушки, со склада в Серпухове уже едет машина. Деньги? Что вы, какие деньги, я заплатила, лишь бы он был здоров!»

Взрослая девочка, лет тринадцать, все в том же хосписе. Влюблена в мальчика из модного ансамбля — какую-то особенную музыку они там играют. Что я в этом понимаю?..

А ей осталось жить, наверное, неделю...

— Здравствуй, вы меня не знаете, я администратор группы, мне сказали про девочку, мы готовы приехать и сыграть... Конечно, бесплатно, что вы!

День и ночь я благодарю Бога за тех, кого вижу на маленьких квадратиках юзер-пиков, за тех, чьих имен я часто не знаю. Россия, Германия, Англия, Израиль, Канада. Если в каждую точку, откуда отвечают мне люди, воткнуть флажок, на суше, наверное, не останется пустого места.

\* \* \*

Но сейчас задача у меня посложнее. Мне нужно пристроить тебя в Питере.

Мама едет с тобой одна, и нужен кто-то, кто встретит на вокзале, отвезет, устроит...

Я пишу в блоге: «Дорогие питерцы!»

Так в моей жизни появляются Оля, Аня, Саша.

Саша — журналист. Аня, Сашина жена, специалист по японской керамике из Эрмитажа. Оля — искусствовед, преподаватель университета.

Потом, позже, выяснится, что он — суровый бородатый мужик, а она — невероятно красивая и хрупкая, и у них есть дочка, которую они зовут смешным именем — Тузик, и им можно позвонить днем и ночью, что с ними классно пить пиво и болтать о кино и литературе, и о дальних странах, и о ближних людях, что они — моя персональная надежда и опора.

А Оля — своя настолько, что хитрая память подрисовывает какие-то несуществующие детские воспоминания, где мы с ней вместе, то ли на море, то ли во дворе, то ли в школе.

Все у нас было разное, и море, и дом, и школа. Только ты у нас общий, мальчик Митя Панин. Но и этого оказывается довольно.



Едва знакомые мне по переписке в Живом Журнале, они встречаются тебя с мамой на Московском вокзале, везут через весь город в больницу.

Искусствовед Оля — Господи, Ты не знаешь, как я жила без Оли? — привозит еду, которую ты согласен есть, привозит игрушки, еще какую-то чепуху. Главное — они все не бросают Нику одну.

Сколько это стоит — не остаться в беде одному?

Довольно часто мне попадаются люди, умеющие взвешивать и оценивать. Они часто задают вопрос: «А это рационально?». Рационально ли собирать огромные деньги на операцию, которая, скорее всего, ничего не даст? Стоит или нет? Или разумнее потратить как-то иначе? На более перспективного ребенка?

Башат

Башат появился одним сентябрьским днем, когда я услышала в телефонной трубке тихий мужской голос с сильным акцентом.

— Мой мальчик болен. Помогите, пожалуйста, доктор сказал, вы поможете.

Было плохо слышно, я кое-как записала имя, фамилию и диагноз. Я трус. Я предпочитаю не знать деталей. Опухоль и опухоль, что тут говорить, я не врач, зачем оно мне. Это они, вторые после Бога, пусть решают, курабельна она или нет. Какое мое дело...

— Пришлите мне фотографию! — сказала я в телефон. — Мне срочно нужна фотография ребенка. Я напишу про вас в Интернете, и мы будем собирать деньги. Вы поняли меня?

— Да, — тихо ответил папа.

Он плохо говорил по-русски, и я полезла в сетевую энциклопедию, чтобы проверить, правильно ли записала диагноз. И зачем-то прочла всю статью. Глиобластома. Лечение — паллиативное. То есть, говоря русским языком, облегчение состояния безо всякой надежды на излечение. Тринадцать лет. Маленький братик. Папа — шофер. Мама — домохозяйка. Деревня где-то на Шелковом Пути, в благословенных краях, где горы сини, перевалы туманны, дороги пыльны и сладок виноград.

В эту минуту снова зазвонил телефон, и мне сказали:

— Я фотограф. Я ничего не понимаю. Какая им нужна фотография? Они пришли в ателье, и я не пойму, о чем они толкуют. Дали ваш номер. Кого снимать? На какой документ?

Я не успеваю сгруппироваться, сформулировать вежливое и обтекаемое, и вываливаю на голову неповинного фотографа все сразу: и про тринадцать лет, и про горы и перевалы, и про глиобластому, дери ее черт. И он молчит, и слушает, и говорит потом: «О Господи. Я сниму, я хорошо сниму, и денег не надо, и я сейчас пришлю вам фото по электронной почте, диктуйте адрес!».

И проходит минут двадцать — и передо мной на экране черноглазый серьезный парнишка в аккуратной белой рубашке. Велели фотографироваться — и папа повел его к фотографу...

Я пишу в Интернете текст.

Я очень долго думаю над этим текстом. Если б я не прочла энциклопедию, было бы проще, но я знаю, что наша битва проиграна. А это трудно, это очень трудно — звать людей на заранее проигранную битву.

Я пишу как есть.

Про то, что все без толку. Про то, что не спасем. Про то, что оставить не можем...

Пишу даже про папу и фотографа.

Люди приходят. Мы собираем деньги. Очень много денег. Делаем операцию.

Потом — химию.

Башат прожил с нами еще год.



Много это или мало? Сколько стоит год жизни?

Это был неплохой год. Вначале Башат ходил в школу и очень просил, чтобы папа присылал мне его тетради. Он хотел, чтобы я знала: он отличник. Ему не стыдно помогать! Он пишет без ошибок, он прекрасно делит в столбик, и что там еще положено... На чистых листах нет помарок, а пятерки аккуратные и пузатые...

Потом почерк стал хуже.

Потом он перестал ходить в школу.

Нужно было ехать в Москву, и накануне папа отвел его на базар, и Башат вы-брал мне в подарок смешного войлочного верблюда. Войлочный верблюд числится среди моих земных сокровищ...

Много это или мало — год?

За год он успел увидеть салют на Красной площади. Научить братишку читать. Покататься на кораблике по Москве-реке.

И уйти без боли. Во сне.

Весь этот год родители запоминали каждый его шаг. Каждое слово. Каждую улыбку. Каждый день...

Каждый день после его смерти мне звонил папа. Он рассказывал, как приходит мулла, как собирают соседей, как делают все «как полагается».

До сих пор каждый мой праздник начинается с тихого голоса в трубке.

— Мы вам так благодарны, — говорит мне папа Башата. — Пусть Аллах пошлет вам здоровье.

Именно тогда я понимаю одну очень важную вещь: перспективы — это очень существенно. Прогнозы лечения — очень важно. Но, в конечном итоге, значение имеет не это. Не слишком важно, сколько ты прожил, но очень важно — как. Спасти от смерти мы не можем.

Мы можем не бросить. Не оставить один на один с бедой.

\* \* \*

Наступает октябрь.

И вот посреди золотого листопада мне звонит из Петербурга твоя мама. Билеты куплены, дата отъезда назначена. Вы улетаєте в Гамбург.

И я еду в Петербург.

У меня в разгаре учебный год, и я еду на один день.

Убила бы, клянусь, убила бы того, кто сказал бы, что я еду прощаться. Но где-то совсем глубоко внутри, там, где болит с того самого первого дня, когда я тебя увидела, я знаю — прощаться.

Поезд приходит из дождливой Москвы в Петербург, зачарованный самым прекрасным из виденных мною в этом городе листопадов.

Меня встречает Оля, и мы едем на машине через весь Питер, по мостам, мимо дворцов и золотых парков, куда-то на окраину, где среди фантастического, залитого солнцем шороха и шепота осеннего парка стоит больница.

Я везу огромные мешки: московские девочки-волонтеры, твои веселые подружки, насовали мне игрушек, машинок, какой-то безумный бумеранг...

Белый коридор. Белый бокс. На стене нарисованы Винни-Пух и поросенок. Я обнимаю тебя и только тут вижу, что ножка у тебя в гипсе и ляйтунг примотан бинтом к тоненькой, до синевы тоненькой руке.

— Что с ногой? — спрашиваю я.

— Перелом, — отвечаешь ты «взрослым» голосом. — Ты же знаешь, кальций вымывается. Кости хрупкие...

— А почему бинт на руке?

— Тут тебе не Москва, такие у них катетеры...



Мы смотрим друг на друга долго, молча, и ты, как всегда, милосердно вспоминаешь о том, что ты — дитя.

— А что это у тебя в пакете? — спрашиваешь ты нейтральным тоном, и я вижу, как прыгают чертики в твоих глазах.

Еще секунда, и ты с упоенным визгом рвешь упаковки, и на кровать сыплются машинки, парашютисты, пожарники, лошадки...

Оля с простеньким фотоаппаратом стоит у дверей.

Так я получаю фотосессию, которую храню сначала во всех своих компьютерах, а потом на «облачных» ресурсах, в далеком электронном «нигде».

На фотографиях тебя едва видно, большинство из них размыты и смазаны — ты вертишься, ты теребишь меня, требуя собрать, прикрепить, запустить. Ты хохочешь, ты совершенно счастлив.

Нам пора уходить: у меня вечерний поезд назад, в Москву, а твоей маме надо забрать последние бумаги из посольства.

Мы соблюдаем ритуал, который принят у нас с первого дня: мы не прощаемся. Ты ненавидишь прощаться, за все время ты ни разу не сказал мне «до свидания». Безошибочно поняв, что мне пора, ты отворачиваешься и нарочито громко гудишь машинкой, стучишь по мячику — словом, делаешь вид, что к тебе происходящее не имеет никакого отношения. Но теперь, уходя, я оборачиваюсь от двери и вижу, что ты серьезно смотришь на меня через плечо.

Через два дня вы летите в Гамбург.

\* \* \*

Родина, Родина моя, всех победившая Родина, не забывающая ни на минуту о своей победе в той страшной войне, ставящая эту победу во главу всех углов...

Моя несчастная Родина...

Мама маленького мальчика с Волги плачет, оказавшись в больнице немецкого города Гамбурга, в веселой желтой комнате с синими кроватями, красными занавесками, фруктами в корзине в разноцветном приветливом коридоре, с холодильником «для всех», с песочницей во дворе, где играют дети, привязанные к капельницам.

У нас им запрещено спускать ноги с кровати, мы страшно боимся инфекций, а у немцев другой подход. «Уличные» инфекции они лечат, а страшной больничной «синегнойки» в Гамбурге почему-то нет.

В больнице можно все: приходят люди в уличной одежде, во дворе живет собака, в палате можно держать любимого плюшевого медведя, и есть можно вкусную еду, а не только переваренную до молекулярного состояния картошку.

Немецким докторам очень важно, чтобы человек хотел жить. Они уверены, что без этого желания не помогут никакие лекарства. А жить — это значит радоваться жизни...

Вечером к тебе в палату впервые приходит Женя.

Незнакомый мне человек по имени Женя, которого я не видела ни разу в жизни и который разделил со мной то, чего и разделить-то нельзя...

Женя тоже найден в Интернете, благослови его Бог. Русский по происхождению, он давно живет в Гамбурге.

С Жениной помощью вы договариваетесь про меню завтрашнего обеда, про то, когда придет врач...

С тех пор письма от Жени становятся самыми дорогими в моей почте.

Проходит осень, наступает декабрь.

Твои немецкие новости, в общем, неплохи.

Врачи успешно проводят какие-то исследования, говорят о твоём будущем со сдержанным оптимизмом.



Ника звонит мне время от времени. Рассказывает, как ты катался на лифте и тебя чуть не потеряли в огромном клиническом корпусе. Как ты говоришь по-немецки со смешливой медсестрой. Как больничный клоун приходил и показывал тебе фокусы.

Перед самым Рождеством ты звонишь мне сам.

Вы с мамой ходили гулять по предрождественскому Гамбургу, и ты выбрал мне подарок. Это жестяная музыкальная шкатулка с винтом на боку. Если его крутить, то внутри шкатулки механизм играет песенку про «Мерри Кристмас».

На Новый год к вам в Гамбург летят папа и сестренкой, они должны передать мне твой подарок в январе. Но разве ты можешь ждать января?

По телефону ты кричишь мне:

— Слушай, слушай!

И шкатулка дребезжит, выпевая простенькую песенку, и я даже не вытираю слез, слушая твой залихватский смех на том конце невидимого провода. Потом ты спрашиваешь серьезно:

— Приедешь?

— Мить, я не смогу. Для этого нужна виза...

— Я попрошу немцев, и они дадут тебе визу.

— Это не так просто.

— Не волнуйся, я умею говорить по-немецки. В случае чего попросим Женю.

Мама забирает у тебя трубку. Мы с тобой, как обычно, не прощаемся.

Это наш последний разговор.

В середине января из Германии приезжает твой отец.

Мы пьем кофе в каком-то ресторанчике, он рассказывает мне про то, как хорошо и весело вам в немецком «раю», как ты катаешься на заводной лошадке в парке у больницы, как вспоминаешь свою красную машину, оставшуюся в Москве.

Ни мне, ни твоему папе не хочется говорить о перспективах.

Но перспективы висят над нами, как сияющий меч на конском волосе.

— Что они говорят?

Твой папа решительно говорит про стабильное состояние, трансплантацию, статистику. Я верю. Я изо всех сил верю.

Будет трансплантация, будет стабильное состояние, весной ты вернешься в Москву, прямо в апреле, прямо к своему пятому дню рождения.

Как раз тогда, той самой зимой, в больницу попадает Муся.

Муся

Мусина история показалась мне тогда страшно важной, такой же важной она кажется мне теперь, годы спустя.

Я переписываю ее из своего тогдашнего дневника почти без изменений.

\* \* \*

Живет себе где-то в российской провинции семья: мама, папа и сын. Родается у них второй ребенок. Девочка. Называют они ее Мусей и растят два месяца. А потом Муся заболевает. Страшно заболевает. Раком крови. Лечить Мусю придется долго и трудно, и итог этого лечения совершенно неясен. Так бывает, к сожалению.

Дальше происходит то, что тоже бывает, но все-таки, слава Богу, нечасто.

Родители отказываются от Муси и уходят, оставив ее в больнице.

Вот тут важно сказать одну вещь.

Их мотивы и причины, а также их личные качества и посмертное воздаяние меня совершенно не занимали тогда, неинтересны они и сейчас. Были у них, надо думать, и мотивы, и причины...

Неважно.

Они больше не имеют значения, эти люди и их причины, и говорить не о чем.





Важно то, что в нашу больницу из провинции привозят одинокого трехмесячного котенка, с которым произошло нечто очень страшное. И дело даже не в том, что котенок болен, хотя и это тоже... Страшно совершившееся над котенком злодеяние.

Бросили, предали, выкинули, отказались.

Вот чем хороши «чистые» и «однозначные» случаи: они хороши «чистыми» и «однозначными» реакциями.

Муся попадает к нам под Новый год.

После секундной оторопи огромная толпа людей кидается ИСПРАВЛЯТЬ то, что произошло с Мусей.

Пеленки, памперсы, соски, няня.

Нужна очень особенная няня. Такая, которая будет жить круглые сутки в крошечном боксе, драить этот бокс с пола до потолка, поить, кормить, мыть, менять, следить...

Оказывается, что это очень трудно — найти такую няню. Обычно на этот алтарь кладется мама...

А дальше...

Вот дальше я хочу очень точно, прямо-таки прецизионно точно сформулировать для себя и для вас одну важную вещь.

Для победы над злом нужна святость.

То есть каков враг, таков должен быть и его противник. Иначе не получится ничего.

Враг — абсолютное зло — есть. Святых — нет.

Есть толпа грешных людей со своими заморочками в голове, со своими мотивами, желаниями, обидами, амбициями. Им надо эту святость в себе найти.

Иначе говоря, выдавить из себя каплю святости, как выдавливают из пальца каплю крови в поликлинике, когда берут анализ. Выдавить — и использовать как оружие. Иначе враг возьмет верх.

Мусю передают с рук на руки. Смена за сменой. Юные девочки-волонтеры встречают Новый год не в клубе и не на даче, а над кроватью Муси. Мусе очень плохо.

Я захожу к ней на полчаса, я пришла по другому делу. Мой тогдашний подопечный — полугодовалый мальчик Нуран, лежит в соседнем боксе.

Муся непрерывно плачет. Вернее сказать — скулит. На громкий, требовательный плач здорового ребенка она не способна — сил нет. У нее и права нет так плакать, чтоб по первому звуку бежали к постельке мама, папа и бабушка. Откуда-то она это, кажется, знает... Во рту у Муси «грибы», есть она не может, рот надо все время обрабатывать, все кровит, ей капают химию...

Меня оставляют с девочкой ненадолго — надо отпустить волонтера хотя бы выпить чаю.

Сначала я пробую держать ее на руках, но я отвыкла, я не помню...

Я стою над кроватью, положив на Мусю руки. От человеческого тепла Муся перестает скулить и только тихо хнычет. Две мои руки покрывают все Мусино тельце.

Если вы спросите про Бога, то я твердо знаю, где в это время находится Бог.

Он лежит вот в этой кровати, и я стою, положив на Него руки, укачиваю и бормочу: «Прости, Господи, прости, Господи!».

У меня дела, мне пора, моей святости — полкапли...

А потом происходит вот что.

Находится девушка. Девушку зовут Оля. Она красотка, на плече у нее вытатуирован дракон, она любит рок и мотоциклы. Увидев Мусю, Оля забывает о мотоциклах и драконах и остается в боксе.



Она бросает свою жизнь, дела, работу и переселяется в отделение онкогематологии. Она, кажется, не спит и не ест. Она сутками стоит над кроватью. Соседки по боксу говорят: «Как ни проснусь — она что-то с ней делает!».

Оля говорит с Мусей. Без конца что-то лепечет и мажет, вытирает, моет, меняет...

Проходит две недели. Я захожу к Мусе на минутку, я опять пришла по другому делу. Я захожу — и обмираю. Улыбающаяся розовощекая Муся безо всяких грибов лежит в кровати и, как некий фантастический локатор, следит за Олей. Нет, это не точно... Точно сформулировать трудно. Она СВЕТИТСЯ в Олину сторону. Тянет к ней ручонки и смеется. И Оля ее щекочет, поет над ней, как большая птица, а Муся поет в ответ как маленькая птичка.

Вы когда-нибудь видели ЛЮБОВЬ? Вот я — видела.

Мне очень повезло. Честно.

Теперь — самое главное.

Тогда я еще не знала, что будет с Мусей и Олей. Теперь — знаю. Муся доживет до осени. К удивлению врачей, которые отмеряли ей срок много короче.

Мы будем отпевать Мусю в одной из старинных московских церквей, и она будет похожа на драгоценную фарфоровую куклу, лежащую в коробке среди цветов и кружев. И алтарные ворота будут открыты ей навстречу, и волонтеры будут складывать из бумаги кораблики, вставляя в них свечи, чтоб воск не капал на каменный пол.

И молодая, сильная Оля переживет Мусину смерть, но раз в год, в день ее рождения, одна или с друзьями, будет приезжать на кладбище на окраине города и запускать в небо цветные воздушные шары...

И странно и волшебным образом сложится пасьянс, и годы спустя на одной из наших благотворительных акций Оля встретит Петю — шикарного Петю, два метра ростом, с такими же, как у нее, татуированными драконами на плечах, Петю, который возит детское барахло по домам малютки, мотается по тюрьмам и приютам, тушит пожары и спасает людей...

И когда сошедшей с гор водой смоет городок на Кубани, они в ту же ночь поедут туда вдвоем...

А потом Петя и Оля поженятся и возьмут из детского дома мальчика со страшным диагнозом, которого мама родная бросила, что уж говорить о чужих людях. Врачи будут отговаривать Петю и Олю, рассказывать им о том, что года через три у их сыночка отнимутся руки и ноги, а потом он перестанет дышать...

А Оля и Петя будут слушать и улыбаться.

И настанет день, когда я приду на крестины в другую прекрасную церковь в центре Москвы, где служит старый священник, отец Пети, и принесу огромного игрушечного кота в подарок их новенькому сыночку. И сад будет цвести вокруг церкви, и мальчик будет сидеть на руках то у мамы, то у папы, и все будут думать, что врачи-то тоже не всегда правы...

Спасибо Тебе за друзей, Господи.

Пусть Твой ангел несет перед ними фонарь, освещая им путь, куда бы они ни шли...

Что ж.

Дальше тянуть невозможно. Мне нужно рассказать про февраль.

\* \* \*

Тебе становится хуже.

Немецкие доктора что-то объясняют про атипичное течение каких-то там процессов, про смену метода лечения, про новую терапию...

Я часами напролет кручу ручку жестяной музыкальной коробки. Песенка про Рождество звучит в тишине комнаты жалко и одиноко. Она не может заглушить то, о чем я думаю. Да что там, ничто не может.



Женя рассказывает мне, что ты почти перестал играть и совсем не смотришь мультики. Ты увлечен птицами. Ты очень внимательно следишь за тем, чтобы крошки, оставшиеся от твоего завтрака, мама высыпала на подоконник. Эти птицы и их крошки занимают все твое внимание. Ты не встаешь и не играешь, ты рассматриваешь птиц.

Однажды мама забывает высыпать крошки, и ты говоришь ей сердито: «Я скоро пойду жить к птицам на небо, ты что, хочешь, чтоб они меня клюнули?!».

Что ты думаешь о смерти и жизни?

Никто из нас не рискует говорить с тобой об этом, а ты милосердно молчишь. Ты жалеешь нас.

Тебе все хуже и хуже.

Вот тогда-то и становится совершенно ясно, зачем мы все-таки собрали немыслимые деньги на твою безнадежную поездку в Германию. Врачи, которые не сумели тебя спасти, умеют облегчать уход.

Тебя не кладут в реанимацию, которой вы с мамой боитесь больше смерти. Тебя не оставляют одного в стерильном покое, а маму твою не заставляют сидеть под дверьми. Вы вместе каждую минуту.

Когда доктор понимает, что нужно обезболивание, приходит бригада анестезиологов. Они привозят с собой на специальных тележках какие-то сложные аппараты, они возятся вокруг вас с мамой, подключают провода и датчики, ставят мудреные капельницы, и боль отступает.

Вы с мамой вдвоем. Ты — у нее на руках. Они — за дверью, у своих мониторов. Они знают, что ты «уходишь». Они следят за тем, чтобы ты ушел легко.

Ника, гордая, горячая Ника, Ника, которая шла до последнего и не теряла надежды, понимает, что все должно кончиться сейчас.

Анестезиологи снова и снова увеличивают дозы препаратов, и тогда мама, обнимая тебя, говорит:

— Мы тебя любим. Я, папа, сестренка. Егор, Татьяна Викторовна... Мы очень тебя любим. Мы отпускаем тебя. Иди.

Ты улыбаешься. Хлопают двери, вбегают доктора...

В Москве снежный, метельный февраль. Женя не решается мне позвонить, он пишет письмо. В письме два слова: «Час назад».

Я, кажется, «ломаюсь».

Я набираю номер твоего отца. Я что-то кричу в трубку, я его почти не слышу...

Потом я сижу на полу и с преувеличенным вниманием рассматриваю телефон. Он надывается, звонит, высвечивает на дисплее незнакомый номер, и я наконец нажимаю кнопку.

Я пошлю его к чертовой матери, этого неизвестного мне абонента. Я только соберусь с силами и разожму руку на собственном горле.

До сих пор я благодарна тому человеку, который тогда так упорно звонил мне. Ему нужно было передать мне денег на лечение какого-то другого ребенка, и он, продираясь сквозь мою внезапную глухоту, требовал, чтобы я немедленно пришла к метро, что он готов ждать не более получаса, что это срочно, что он потом уедет...

И я оделась. И вышла из дому. И шла через метель, командуя самой себе: «Левую ногу. А теперь — правую. Снова левую!».

И у метро мы говорили о чем-то очень важном, и человек этот был очень настойчив и строг, а потом остановился внезапно, посмотрел на меня и спросил: «Кто-то умер?»

Тогда при мне впервые произнесли это слово, и оно относилось к тебе.

Проходит ночь. Утром мы с твоим папой обсуждаем «груз 200». Другими словами, мне предстоит встретить тебя в аэропорту. У меня нет опыта, я не знаю, как встречают



такие грузы. Кроме того, голова моя упорно отказывается вмещать произошедшее, и от этого я постоянно «зависаю», как пораженный вирусом компьютер.

И тогда я звоню Галечке.

Галечка

Сегодня, в моей теперешней пустоте, у меня больше нет такой возможности.

Теперь, что бы ни случилось, я не смогу набрать номер, когда-то занесенный в память телефона строго и официально: Галина Владиленовна Чаликова, фонд «Подари Жизнь». Не смогу пробиться через вечное «занято», услышать ее смешной девчачий голосок, и от одного этого сразу как-то случайно растерять половину проблем, которые только что казались неразрешимыми.

Мы больше никогда не увидимся.

Точнее, если мне очень повезет и ты замолвишь за меня словечко, вы встретите меня Там, где нет болезней и старости и где ты играешь с нею в мяч на бесконечном зеленом лугу, или, например, на берегу моря... Да, собственно, все равно где. Совершенно все равно.

Начиная эту повесть, я и не думала писать о Галечке. Мне и сейчас эта тема кажется слишком огромной и одновременно слишком частной, личной для того, чтобы рассказать о ней незнакомым людям.

Я могла бы сказать, что мы дружили, но этими словами ничего не объяснить. Она была моим «старшим».

Знаете, как это бывает в счастливых семьях? Ребенок растет под защитой и покровительством старших. Что бы с ним ни случилось, как бы ни ударила его неаккуратная острая жизнь, рядом есть кто-то, кому можно поплакаться, кто защитит, поймет, исправит. Разберется. Разрулит.

Маленькая и хрупкая Галечка была «старшим» для тех, кто давно и прочно полагался только на себя, кто сто лет как никому не верил и ни на кого не рассчитывал. Она была, кажется, общим тылом и защитой всех, кому больно и страшно: детям, родителям, больничным волонтерам... Она была тем «звонком другу», который способен выпрямить самую страшную кривую.

Она была трогательная, смешная и восторженная, она называла всех мальчиков гениями, а всех девочек — красавицами, на стенах ее кабинета висели прищипленные булавками каляки-маляки подопечных фонда, и она искренне именовала их «шедеврами». «Шедевриками» — если быть точным.

«Супер!» — было ее любимое словечко. Она умела так искренне восхищаться и так по-детски благодарить, что мне долго не верилось, что она умеет, например, хоронить.

Покупать с окостеневшей от горя мамой самое красивое белое платье, чтобы проводить в последнюю дорогу пятнадцатилетнюю девочку-невесту. Добиваться каких-то мудреных бумаг от морга.

Доставать из-под земли лекарства, специалистов, машины, аппараты искусственного дыхания.

Мгновенно менять навсегда всех проходящих мимо нее людей.

С ней все это как-то не вязалось, она казалась такой хрупкой и беспомощной — и все-таки она могла все. Например, организовать строительство целой больницы. Добиться от рабочих правильного ремонта в отделении онкогематологии. Сделать так, чтобы важные и богатые люди, которым нет дела до чужих бед, радовались детским рисункам в простеньких рамках как самым дорогим подаркам...

Галя умерла от рака в 2011 году.

Но тогда, в 2009-м, на мое счастье, я еще могла позвонить Гале.

— Гроб прилетит утром, — говорила я. — Машина в их родной городок пойдет через сутки. Где нам переночевать?



— Можно оставить гроб в «Шереметьево», — начала было Галечка, но тут же перебила саму себя: — Нет! Невозможно! Мы не можем оставить его на ночь одного на этом страшном складе...

Ей, понимаете, совсем ничего не нужно было объяснять...

Галечка позвонила куда-то, потом еще и еще раз, и нас с нашим «грузом 200» согласилась принять церковь святых Космы и Дамиана, где служил отец Георгий, когда-то приведший нас всех в больницу.

Вы найдете тысячу самых прекрасных рассказов об отце Георгии Чистякове, если только захотите.

В мою маленькую повесть не вписать ни его, ни Галю, ни сотню других людей, одно воспоминание о которых — как рука, протянутая в темноту и холод: держись, грейся. Они стоят самых лучших слов, и их непременно найдут те, кто будет писать историю нашего странного времени, и напишут о них, однажды решивших, что помощь, которой все ждут, — это они и есть, и ждать больше некого. Никто не придет. А точнее, все уже пришли.

Вот и сейчас я говорю с тобой, маленький Митя Панин, и на моем столе лежит желтый круг света от настольной лампы, а за моей спиной незримо стоят они — строгие и смешливые, суровые и нежные, мои друзья, с которыми вместе столько прожито и пройдено. И как хорошо знать, что я мало что стою без них, но они, слава Богу, со мной...

В день вашего возвращения из Германии идет снег.

Проснувшись поутру, я не вижу неба, шоссе под окнами, домов напротив...

Вместе со мной в аэропорт едут моя подруга и совсем юная девочка-волонтер. Мы едва успеваем к самолету.

Твои мама, папа и сестра выходят нам навстречу из зоны прилета, и я понимаю, что подсознательно ждала, что ты все-таки будешь шагать с ними рядом, держа за руку Нику, и все-таки побежишь мне навстречу, и все-таки выяснится, что это была... не знаю, шутка, что ли...

Но такими вещами не шутят.

Ты летишь не с семьей. Отдельно. В грузовом отсеке...

Мы проводим долгий и страшный день в аэропорту. Документы никак не могут оформить, какие-то идиотские задержки, бюрократическая ерунда, которую никак нельзя преодолеть...

Мы сидим на деревянных лавках в зале ожидания карго, и твоя мама без конца говорит — тихо, без слез, глядя куда-то мимо меня сухими воспаленными глазами. Она что-то рассказывает про Гамбург, про то, как ты был счастлив и доволен, и ел удивительные фрукты и катался на заводном пони на детской площадке, про то, как тебе было хорошо, про то, как ты умер счастливым...

Слава Богу, волонтер Сашенька давно увезла на такси домой твою сестренку, и там напоила ее чаем и уложила спать, а мы все сидим, все ждем, и наконец поздним вечером нас пропускают за ворота грузовой зоны.

Снег уже кончился, потеплело, и в воздухе висит серый сырой туман. Мы пристраиваем наш «груз» в машину, и я ловлю себя на том, что стараюсь не думать об этом ящике, закрепленном специальными ремнями в удобном немецком катафалке. Я не хочу обнаруживать связь между этим ящиком и тобой.

Мы едем в Москву. Мы выдохлись и молчим, и только фонари по обочинам вылетают нам навстречу из тумана, улетают назад, в туман.

Глухой ночью добираемся наконец до Тверской, и я с каким-то нечеловеческим облегчением вижу, что в темноте светятся окна в храме: нас ждут.





Дальше я сижу, обняв твою маму, на лавочке, а какие-то мужчины вносят, устанавливают, обихаживают наш ящик, и я думаю, что ты на полпути домой, и все самое страшное, наверное, позади.

Утром — отпевание.

Той ночью я заболеваю. Чудовищная усталость, горе, промокшие ноги, напряжение последних суток... Меня знобит, поднимается температура, и мне снится сон.

Во сне я иду по широкой заснеженной аллее старого парка, вечереет, падает тихий густой снег, и все вокруг становится синим, как бывает только зимой. Впереди, в конце аллеи, я вижу свет. Там стоит белый особняк с колоннами, его окна ярко освещены, за полупрозрачными шторами смех и музыка, и я понимаю, что там — детский праздник, там, наверное, елка, там тепло и светло, и шуршит мишура, и взрываются хлопушки...

И откуда-то я совершенно точно знаю, что там, на празднике, ты, маленький Митя Панин, одетый в костюм рыцаря, с пластмассовым мечом на боку, смеешься и танцуешь, и даже, может быть, читаешь стихи.

Я так хочу тебя увидеть! Мне так важно знать, что весь прошедший день был неправдой, а правда — вот этот дом, этот парк и эта елка.

И я тяну на себя дверь, и она поддается, и мне навстречу в светлые сени из зала выбегает девочка в праздничном «принцессинном» платье с лентами и бантами и говорит мне:

— Не бойтесь, у нас тут все очень хорошо! И у Мити все хорошо!

— Можно мне посмотреть? — спрашиваю я.

— Нет, вам пока нельзя, — качает головой маленькая принцесса. — Но главное — вы ничего не бойтесь! И еще — вы же скажете моей маме, что у нас все хорошо?

— Я не знаю твоей мамы, — отвечаю я.

— Знаете, знаете, — смеется она и подталкивает меня к двери: — Идите, вам пора.

Может быть, вы сочтете это смешной чепухой, но недели три спустя я вижу фотографию той девчушки на столе в «фондике». Так в больнице зовут крошечный кабинетик, отведенный фонду «Подари Жизнь» в одном из отделений. Тогда я узнаю, что девочку звали Яной, и умерла она года три назад, и мама ее с тех пор работает в фонде координатором каких-то важных программ, и я действительно давно ее знаю, только не задавалась вопросом о том, что привело ее на эту работу. И я страшно трушу — не хочется ведь прослыть сумасшедшей! — но я дала обещание, и, поймав ее в коридоре, я бесконечно извиняюсь, лепечу какие-то объяснения, а потом все-таки рассказываю Яниной маме свой сон и передаю то, что велела передать девочка.

И молодая светловолосая женщина обнимает меня, и мы вместе плачем — кажется, от радости...

Я просыпаюсь с тяжелой головой, но мне легче.

Это наша с тобой последняя встреча, и я не могу нарушить традицию. Утром, по пути в церковь, я покупаю в магазине у метро самую маленькую гоночную машинку.

Рядом стоят огромные и яркие коробки, но тебе они больше не нужны. Там, куда мы сегодня провожаем тебя, будет все, чего ты захочешь, и твои любимые птицы будут ждать тебя, как маленького Франциска, и там, наверное, будут все машинки в мире, и цветные облака, и слон, которого ты придумал...

Наверное, Там все будет как в самой лучшей в мире детской, откуда навсегда изгнаны боль и печаль, а есть Там только жизнь бесконечная, которую обещает тебе грустный пожилой священник.

На отпевании очень много народу: все те, кто приходил к тебе в больницу, твои друзья-волонтеры, те, кто помогал собирать деньги на Германию...

Я тихонько отдаю твоему отцу машинку: в гроб ее не положить, он запаян. Я прошу оставить ее на могиле.



Всю ночь в Живом Журнале мне пишут слова сочувствия и поддержки совсем незнакомые люди, к утру моя почта переполнена... Я не могу ничего ответить, я читаю только: «Держитесь, держитесь, держитесь!» — как будто сотни рук тянутся ко мне, и я вправду держусь за них, медленно выбираясь из проруби на ломкую корочку льда.

Что бы я делала без них...

Что бы я делала без вас, дорогие.

\* \* \*

Теперь, годы спустя, я точно знаю, что ничто не кончается со смертью. Таково свойство жизни.

В тот день, когда тебя не стало, я клялась какими-то страшными дурацкими клятвами, что больше не переступлю больничного порога, что заткну уши, запру двери, заложу кирпичом окна, что больше никогда не узнаю о «чужом горе», что больше никому не дам сделать мне ТАК больно.

Недели через три после того, как мы проводили тебя в маленький городок на Волге, я останавливаюсь в ближайшем торговом центре у ларька, где торгуют иконками, крестиками и прочей церковной утварью. Мне нужна длинная цепочка — на моей испортился замок, и я того гляди потеряю крест.

За прилавком сидит тетка в платочке. Покупателей немного, и тетка читает какую-то тоненькую религиозную брошюру. Что-то о способах борьбы с искушениями. Я выбираю цепочку и оставляю сдачу «на храм», от которого торгует ларек. Продавщица радостно рассказывает мне о своем приходе. Я слушаю, теребя пакетик с цепочкой. Народу на Пасху много, а в обычные дни — мало, а надо ходить в церковь всегда, а то Бог накажет.

«Бог посылает детям болезни, чтобы вразумить родителей!» — уверенно и сурово говорит тетка.

До сих пор, думаю я, она меня вспоминает. Она не знала, на какую кнопку она жмет, и превращения вежливой покупательницы в разъяренную мегеру никак не ожидала.

Что я там кричу ей в лицо, как я велю ей не клеветать на моего Бога, что воплю сквозь слезы — не помню. Кажется, потом я прошу у нее, до смерти напуганной, прощения...

Вернувшись домой, я записываю то, чем мне хочется закончить эту коротенькую повесть.

Не пеняйте на Бога.

Бог создал удивительный, добрый, умный и прекрасный мир. Он выстроил над морями горы, Он создал полевые травы и могучие деревья, Он раскрасил в тысячу цветов земных зверей и небесных птиц.

Бог дал вам и мне свободную волю.

Это значит, что я могу выбирать. Прощать или проклинать, любить или ненавидеть, возводить по кирпичику мир или начать войну. Естественно, мне придется иметь дело с последствиями.

Вероятно, Он мог бы принудить вас и меня к добру. Запретить нам грешить, сделать нас всех одинаково милосердными.

Вероятно, Ему было важно, чтобы мы выбрали добро по своей собственной воле. Потому что только от победы добра над злом внутри человека рождается, например, творчество. Отняв одно, вы навсегда лишитесь другого.

К сожалению, приходится признать, что, кроя Божий мир под себя, мы могли бы действовать поаккуратнее.



Сейчас мир напоминает комнату с заклеенными намертво окнами, в которой... ну, скажем, курят. Так курят, что под потолком коромыслом висит сизый дым и почти невозможно дышать. Наша злоба и ненависть — облака этого дыма.

Я рывкнула на кого-то в метро — облако едкого дыма поднялось к потолку. Не простила какую-то мелочь — еще облако. Соврала ради своего удобства — еще одно...

С нами в этой комнате наши старики и дети. Те, кто послабее нас.

Мы кое-как приспособились.

Наши легкие черны, в глазах у нас темно, но мы большие и сильные, мы справляемся.

Наши дети задыхаются первыми.

Мы спорим, кричим, мы чуть не деремся, дым все черней и удушливей, и вот уже их плача не слышно за нашими криками, но кто-то оборачивается и говорит: «Смотрите, он задыхается!».

Странно, но тут мы вспоминаем о Боге.

Мы требуем от Него справедливости. Мы хотим знать, как это вышло, что Он «наказал» самого маленького и слабого.

Он не может нам ответить. Он держит за руку того, кто задыхается в люльке. Там Его место, и с этого места Он не уйдет.

Я знаю, что нужно делать. И вы знаете. В общем, в этом нет ничего сложного.

Надо перестать дышать ненавистью и злобой.

И еще. Надо постараться влезть на табуретку и приоткрыть окно. Хоть чуточку. И подтащить к щели тех, кто еще не задохнулся.

Мне очень повезло. Значительную часть своей жизни я живу среди тех, кто пытается приоткрыть это самое «окно».

Удивительно, но нас очень много. Нас делается больше с каждым днем.

Я думаю, это происходит оттого, что Царство, где маленький Митя Панин играет с птицами, становится ближе с каждым днем.

## Распутин Валентин «Век живи - век люби»

Валентин Григорьевич Распутин ВЕК ЖИВИ - ВЕК ЛЮБИ Тому, кто не имеет ее, самостоятельность кажется настолько привлекательной и увлекательной штукой, что он отдаст за нее что угодно. Саню буквально поразило это слово, когда он всмотрелся в него. Не вчитался, не вдумался, там и вдумываться особенно не во что, а именно всмотрелся и увидел. "Самостоятельность" - самому стоять на ногах в жизни, без подпорок и подсказок - вот что это значит. Иногда для важного решения не хватает пустяка; так произошло и на этот раз: как только Саня увидел, что такое самостоятельность, он словно бы встал на свое собственное, ему принадлежащее место, где ему предстояло сделаться самостоятельным, встал так уверенно и удобно, что



никаких сомнений не могло быть, его ли это место, и решил: все, хватит. Хватит ходить по указке, поступать по подсказке, верить сказке... Пятнадцать лет человеку, а для папы с мамой все ребенок, и никогда это не кончится, если не заявить раз и навсегда: сам. Сам с усам. Я - это я, это мне принадлежит, в конце концов мне за себя в жизни ответ держать, а не вам. Конечно, он не собирался переходить границы, в этом не было необходимости, но границы собирался пораздвинуть. И удивительно: стоило Сане принять решение, ему сразу же повезло. Еще в начале лета папа с мамой никуда не собирались, но, вернувшись из спортивного лагеря, где Саня провел июнь, он вдруг узнал, что они уезжают. Они летят в Ленинград, там садятся со своими знакомыми в машину, едут в Прибалтику, затем в Калининград, затем в Брест, куда-то еще и возвращаются только в конце августа, чтобы собрать Саню в школу. "А ты побудешь у бабуш-ки", - сказала мама. Папа вздохнул. Август у бабушки на Байкале золотой месяц: ягоды, грибы, рыбалка, купанье, и папа, будь на то его воля, не раздумывая, поменялся бы с Саней местами. Только Саня, разумеется, отказался бы меняться - и не потому, что ему не хотелось побывать в Прибалтике и увидеть Брест, хотелось, и особенно в Брест, но он предпочитал быть там, где нет папы с мамой, которые и в Бресте умудрились бы затолкать его в окоп или в траншею и не позволили бы высовываться, чтобы, не дай бог, не схлопотать выпущенную сорок лет назад пулю. Если у родителей один ребенок, они, судя по всему, сами впадают в детство, продолжая играть с ним, как с куклой, до тех пор, пока он не откупится собственным родительским вкладом. Сане было неловко за своих родителей и жалко их, когда он видел, что, говоря нормальным и ровным языком с его товарищами, они тут же с ним переходили на язык или неумеренного заискивания, или неумеренной строгости, то и другое делая как бы вслепую, не видя его, а лишь подозревая, что он должен тут быть, говоря не столько для него, сколько для себя, чтобы доказать что-то друг другу. Он так и научился относиться к их словам, когда они были вместе: это не для него, это они для себя. Однако каждый из них в отдельности мог с ним разговаривать и серьезно. Особенно это относилось к папе, и в нем же особенно заметно было, как неловко ему перед сыном за их общий разговор с мамой вместе, но наступал следующий раз, подходило время следующего разговора, и снова все повторялось сначала. "Как маленькие, честное слово, как маленькие", - в тон им размышлял Саня, досадуя и понимая, что его родители в этом отношении не хуже и не лучше, чем другие, и что человек в слабостях своих на всю жизнь остается ребенком.

На Байкале, куда Саня приехал к бабушке, везение продолжилось. Прошло три дня - и вдруг бабушке приносят телеграмму: срочно выезжай, Вера в больнице, дети одни. Тетя Вера, мамина сестра, жила в городе Нижнеангарске на северном Байкале, и вот, стало быть, серьезно заболела, а муж ее геолог, до него в тайге не достучаться. Бабушка заахала, потерялась: и здесь парнишка на ее руках, и там неизвестно что. Санины родители в это время гуляли по Ленинграду или катили в Таллин, все сошлось лучше некуда для Сани, и он заявил: останусь один. Выручила тетя Галя, бабушкина соседка, она согласилась не только кормить бабушкиных поросят, но и доглядывать за ее внуком, а на ночь брать его в свою избу. Бабушка уехала, а тетя Галя и думать забыла про Саню. Про поросят она, правда, помнила, и этого было достаточно.

Саня зажил как кум королю. Он полюбил ходить в магазин, варить себе немудреную еду, справлять мелкую работу по дому, без которой не обойтись, полюбил даже пропалывать грядки в огороде, чего раньше терпеть не мог, и сделал одно важное открытие: в своей собственной жизни он выдвинулся поперек всего, что окружало его и с чем он прежде постоянно вынужден был находиться рядом. Ничего, казалось бы, не изменилось, внешне все оставалось на своих местах и в своем обычном порядке... кроме одного: он получил удивительную способность оглянуться на этот мир и на этот порядок с расстояния, мог войти в него, но мог из него и выйти. Люди только на чужой взгляд



остаются в общем ряду, каждый из них в отдельности, на свой взгляд, выходит вперед, иначе жизнь не имеет смысла. Многие для Сани находилось тут еще в тумане, но ощущение того, что он вышел вперед, было отчетливое и радостное, как ощущение высоты, когда открываются дали. Больше всего Саню поражало, что к этому ощущению и к этому открытию он пришел благодаря такому, казалось бы, пустяку, как взявшаяся в нем откуда-то необходимость возиться с грядками - самой неприятной работы. Это было и не желание, и не понуждение, а что-то иное: поднялся утром, и при мысли, как лучше собрать предстоящий день воедино, едва ли не раньше всего остального приходит на ум напоминание о грядках, которое точь-в-точь сходится с твоей собственной потребностью движения и дела, подобно тому, как вспоминаешь о воде лишь тогда, когда появляется жажда.

Ночевать одному в старой избе, в которой постоянно что-то скрипело и вздыхало, поначалу было невесело, но Саня справлялся со страхом своим способом - он читал перед сном "Вечера на хуторе близ Диканьки". Книжка была читаная-перечитаная, истрепанная до последней степени, что еще больше заставляло сердце замирать от рассказанных в ней жутких историй, которые в новой книжке можно принять за выдумку, а в старой нет, в старой поневоле поверишь, но после них, после этих историй в книге, вознесенных в своей красоте и жути до самого неба, с подголос-ками из самой преисподней, сил и страхов на свои заугольные и застенные шорохи уже не оставалось, и Саня засыпал. В его представлении призраки и нечистая сила, которые были там, в книге, почему-то не соединялись с теми, которые могли быть здесь, словно не желая признавать теперешнюю исхудавшую и обесславленную породу за свое будущее, и Саня, откладывая книгу, лишь с жалостью и недоумением думал о всем том, чего он порывался бояться, с жалостью не к себе, а к ним: вот ведь какую имели власть и до чего докатились!.. А потом привык. Привык различать дальние, как стоны, сигналы пароходов в море, шум ветра, который набирается за день и гудит в стенах ночью, тяжкий скрип старых лиственниц во дворе и глухой, могучий гуд от Байкала, который в темноте зовет и не может дозваться какую-то свою потерю.

Так Саня прожил неделю, потихоньку гордясь собой, своей самостоятельностью и хозяйст-венностью, и беспокоясь лишь о том, чтобы не нагрязнула бабушка, от которой не было никаких известий. У бабушки на стене в горнице висел отрывной календарь; Саня снимал с него листочки и складывал их на тумбочке рядом с толстой бабушкиной горкой своим отдельным порядком, видя в этом какой-то неуясненный, но значительный смысл. \* \* \* В пятницу после обеда пришел Митяй. Он не знал, что Саня живет один, но видел его за день до того в магазине, поэтому рассчитывал застать здесь Санюного отца. К нему Митяй и шел за помощью и теперь, растерянный и расстроенный, сидел на табуретке у входной двери и внимате-льно и невидяще смотрел, как Саня иголкой нанизывает на двойную нитку разрезанные подберё-зовики. Он смотрел долго, с усилием морща лицо и переживая, чтобы кусочки грибов на прогнув-шейся длинной нитке не задевали о пол, затем спросил:

- Сушишь?

- Сушу.

- Молодец.

Не похвала подействовала на Саню, нет, он знал, что она ничего не стоит и сказана не от сердца, ему просто жалко стало Митяя, вспомнив, как жалел его в таких случаях и заступался за него перед мамой и бабушкой папа, когда Митяй вот так же приходил, садился и ждал.

- Дядя Митяй, вам, наверно, три рубля надо. Я могу дать, у меня есть.

Митяй, всматриваясь в Саню возрождающимся взглядом, пуще прежнего поморщился и отвечивал:





- Ты корову теткой не зовешь?

- Зачем?

- То-то и оно... зачем?.. Митяй - кличка, как у быка. Кто ж кличку дядькает? Зови, как все, Митяй, чего там... Не подавлюсь.

- А вообще-то как тебя зовут? - Саня не решился сказать "вас". Но они и вправду знакомы были давно, и "ты" у Сани по-свойски проскакивало и раньше.

- Митяй. Так и зовут. Хошь - спроси у моей мамы, она умерла сто лет назад.

И это было знакомо Сане, и об этом говорил папа, замечая, что, когда Митяю неловко за себя, его "заносит" в обратную сторону. Как, впрочем, и многих, о чем Саня мог судить по себе. "Он не от обезьяны выродился, а от дьявола,- сурово сказала бабушка, когда Саня попытался однажды объяснить ей теорию происхождения человека.- Ежли бы от обезьяны, он бы помалкивал, не позорил себя. А ему, вишь, чем хужей, тем милей. Это от него, от нечистого".

Саня достал из тумбочки, где у него хранились деньги, три рубля одной бумажкой и подал Митяю. Тот, как-то особенно строго взглянув на Саню, взял и вместо благодарности сказал:

- Дурак твой отец. Ягода пошла, а он укатил. Ягоды понче - от и до.

Эх, слышал бы это папа, слышал бы... У него и там, в достославных Риге, Калининграде и Бресте, стоном застонала бы душа, просясь обратно,- до того любил он и ждал весь год эту ягодную пору, ухитряясь каждое лето приурочивать свой отпуск именно на нее, на эту пору. Он и нынче угадывал на нее и сколько, поди, старался, сколько волновался и бился, чтоб не раньше и не позже, а вот не пришлось. Слышал бы он это "от и до", означающее на языке Митяя богатство редкое, полное, выпадающее раз в пять, а то и десять лет. Митяй зря говорить не будет, уж что-то, а такое за ним не водится, он, напротив, как все местные жители, боящиеся сглазу, готов скорее преуменьшить, чем преувеличить. Значит, на славу уродила тайга. И бабушка, уезжая, вздыхала: "Люди говорят, сыпом ноне насыпано ягоды, а я и на горку на свою не сбегая. Плакала моя ягодка".

На ягоде папа с Митяем и сошлись. Уже много лет они ходили вместе, умудряясь даже в неурожайные годы что-нибудь да набрать. Если не бруснику, то голубицу; если не смородину, то жимолость; если не малину, то чернику. Ездили однажды поздней осенью и за облепихой, но ехать надо было далеко, в чужую тайгу, они попали под снег и вернулись ни с чем. Своей же ягоды, из своей тайги, кроме редких, совсем уж пустых лет, обычно бывало вдоволь. Бабушка не успевала варить ее и толочь, Саня не успевал бегать в магазин за сахаром. К зиме широкие, в два ряда полки в кладовке у бабушки были сплошь заставлены банками, где на наклеенных бумажках Саниным почерком крупно было написано, где кислица и где малина, где толчение и где варенье. Половина этих банок переправлялась затем в город и съедалась под гостеванье и бытованье, половина оставалась у бабушки, да много ли бабушке одной надо, и доживала до весны и до лета, когда, снова собравшись вместе, наваливались на ягоду всей семьей - только подавай!

Мама была отсюда, из этого поселка, выросла здесь, а папа городской, но именно он постоянно тянул ее сюда, а мама если и ехала, так нехотя, без удовольствия, лишь бы не обидеть бабушку.

И дружба папы с Митяем не нравилась маме. Митяй когда-то "сидел", кроме того, он "пил" - были, были у него особого рода меты, которые отпугивают благочинных людей. Он и не скрывал их, а чувствуя неприязнь к себе Саниной мамы, любил, когда его "заносило", рассказывать при ней тюремные истории или пьяные свои похождения, по которым выходило, что за два года в неволе он зарезал там не менее двадцати человек, а не позже чем вчера ограбил на берегу возле столовой пятерых туристов. Митяй уж больно преувеличивал, нажимая при этом на лагерный жаргон, и мама, конечно, верила



не всему, но кое к чему относилась всерьез, считая, что для того и рассказываются небылицы, чтобы скрыть правду, заинтересованную в том, чтобы ее скрывали. Что же касается теперешних походов Митяя, мама не могла не знать, что, осужденный в свое время за пьяную драку, Митяй с тех пор больше смерти боится всякого мужицкого шума и стара-ется отойти в сторонку, едва лишь он назревает. Папа, защищая Митяя, в споре с мамой начинал горячиться, а потому мало что мог сказать, он повторял лишь раз за разом, что даже в самом скотском виде Митяй остается человеком и ведет себя как человек, не то что некоторые трезвен-ники. Бабушка, не любившая споров и тоже боявшаяся их, как Митяй драк, примирительно вздыхала: "Он мужик-то не дурной, нет, только из круга выбился". Вот это "из круга выбился" почему-то больше всего и возбуждало в Сане интерес к Митяю. Есть, значит, люди в круге и есть за кругом - и что же, не может или не хочет он вернуться обратно в круг?

Митяй не спрятал Санину трешку, вертел ее в руках, раздумывая, очевидно, что пообещать, какой назначить себе и Сане срок, чтобы вернуть деньги. И неожиданно пожаловался:

- Я, Санек, уж три ведра ягоды задолжал народу. Завтра надо топать.

Это означало, что он занимал деньги под ягоду. Тем он и отличался, то и ставил ему всегда папа в заслугу, что Митяй не попрошайничал, как некоторые в поселке, которые знали одно: любым способом взять, выманить, выпросить - нет, Митяй сразу назначал, когда и чем он может вернуть долг, и, за редкими исключениями, возвращал потом в точности, а исключения эти заключались в том, что в назначенный срок Митяй, пьяный или трезвый, приходил и говорил: сегодня, хоть режь меня, не могу, а смогу тогда-то.

Он вертел в руках трешку и вел какие-то уж очень сложные подсчеты, но, ничего утешительного, по-видимому, не вычислив, вдруг предложил:

- А хошь - пойдем завтра со мной заместо отца. Ягода есть - я бегал, смотрел. Промнешься, чем дома сидеть.

И когда Саня, удивленный и обрадованный, согласился без раздумий, Митяй посмотрел на него внимательней и строже, словно только теперь дотянув тяжелым своим умом, что перед ним совсем еще не тертый в тайге, да и нигде не тертый, домашний городской парнишка. Саня заметил его неуверенность.

- Да ты что, Митяй, ты думаешь, не дойду, что ли? Я хожу нормально, ты не бойся.

- Не дойдешь, там останешься,- сердито буркнул Митяй и спрятал трешку в карман.- Только это... с ночевой пойдем, запас бери. Одежонку, главно, потеплей бери на ночь. \* \* \* Саня ахнул и невольно приостановился, когда, спустившись с горы и вывернув из-за послед-него дома, увидел он утром на площадке, где притормаживал поезд, огромную толпу народа. В серых и вялых утренних сумерках, когда не свет, не темь, толпа действительно казалась огромной много больше, чем живет в поселке, и люди с трех сторон все подходили и подходили. В четвертой стороне, на воде, один за другим взрывались оглушительно моторы, и лодки с пригнув-шимися и настороженными, как на гонках, фигурами устремлялись вдоль берега вправо. То, что ждали поезда, держались группами и тоже были почему-то насторожены и малоразговорчивы.

В этом незнакомом по большей части и недружелюбном многолюдье Саня не сразу отыскал Митяя. Сегодня это был совсем другой человек, чем вчера. С хитровато и уверенно поблескиваю-щими глазами, с плутоватой улыбкой на широком и поздоровевшем за ночь лице Митяй сидел на рельсе и, по-монгольски подогнув под себя короткие ноги в сапогах, задира стоящего перед ним и в чем-то перед ним виноватого, хмурого и растрепанного с головы до пят, помятого мужика, рассказывая тому что-то, что тот не помнил и не хотел помнить. Хмуро отнекиваясь, мужик с надеждой смотрел в сторону вокзала, откуда должен был появиться поезд. Когда Саня подошел и



поздоровался, он тут же, воспользовавшись случаем, отодвинулся от Митяя, и - за спины, за спины...

- Куда?! - весело закричал ему вслед Митяй.- Ну, Голянушкин, пустая голова, я тебя в тайге разыщу, ты от меня не спрячешься.

Саня оглянулся: почему пустая голова? - но мужика уже и след простыл. А оглянулся Саня потому, что у Митяя на голове была шапка, старая и матерчатая, выцветшая до столь скорбной окраски, что ее нельзя уже и назвать, но как-то удивительно подходящая для Митяя, для всего его ладного в это утро и подогнанного вида. Все по отдельности было некстати - шапка, голубенькая майка под темным пиджаком с подвернутыми рукавами, широкие, как шаровары, и светлые от частой стирки брюки, заправленные в разношенные, намазанные дегтем сапоги - и все вместе казалось именно тем, что и должно быть на человеке, который отправляется в лес не на прогулку. То ли благодаря лицу, то ли фигуре, то ли чему еще. Саня знал уже, что есть такие счастливые люди, на которых любая нескладина сидит так, что позавидуешь, но у Митяя было что-то иное, у него этот лад шел словно бы от какого-то согласия с собой, когда человеку все равно, что надеть, лишь бы было удобно, и потому все надетое вынуждено выглядеть ловко и хорошо.

Митяй увидел за спиной у Сани рюкзак с высывающимся краем ведра и спросил:

- А горбик отцов где?

- Он большой сильно.

- Из большого не выпадет. Зря ты. Он, главное, легкий, по спине. Ладно, полезли, не зевай.

Подходил поезд, и Митяй, нацеливаясь, где лучше встать, сделал несколько шагов по ходу и придержал возле себя за рюкзак Саню. Как раз напротив них оказалась раскрытая дверца вагона, Митяй быстро и сильно втолкнул в нее Саню, прыгнул сам, и, пока давились в дверях, они сидели уже за столиком у окна. Довольный первой удачей, Митяй весело посматривал в окно на толкотню, подергиваясь и порываясь в особенно интересные моменты что-то крикнуть и все-таки удерживаясь. И опять Саня подивился той перемене, которая произошла с ним со вчерашнего дня, будто и не Митяй с ним был, а его двойник, всегда веселый и беззаботный. Впрочем, Саня еще раньше начал подозревать, что у каждого человека должен существовать где-то в мире двойник, чтобы по результатам двух одинаковых по виду и противоположных по своей сути людей кто-то единый мог решать, что ему делать дальше.

- Ну, орда, ну, орда! - громко и вызывающе-счастливо крикнул Митяй, когда поезд двинулся и их сдавили на той и другой скамьях так, что не пошевелиться.- Держись, тайга!

- Что-то уж сильно много,- озираясь, осторожно заметил Саня, у которого испуг от многолюдья все еще не прошел.- Неужели они все за ягодой?

- Ягоды хватит, когда бы по-людски ее брать. Только это орда. Она не столь соберет, сколь потопчет. Счас пёром попрет.- Митяй вытягивал шею, кого-то высматривая.- Ничё, Санек, мы им не попутчики, они скоро вывалят. Это все на обыденок, а мы ягодники серьезные. Мы туда пойдем, где ихая нога не ступала.

Поезд шел медленно и неровно, подергивая старый скрипящий вагон, выслуживший пять сроков, какого на сквозных линиях давно не встретишь. И только здесь они все еще служат, удивляя заезжего человека грубым, на теперешний взгляд, затрапезным видом: тяжелые деревянные полки; маленькие и подслеповатые, как в зимовье, окна к рамам, узкие проходы с торчащими углами и в избытке оставленные на память, вырезанные на стенах, окнах, дверях и полках имена и пожелания жаждущих вечности путников.



Да это и не было тем, что принято называть поездом, а скорее грузовой состав, к которому прицеплялось для пассажиров когда три, когда четыре вагона, а зимой так хватало и одного. Рано утром устаревшее сборное чудо-юдо уходило из поселка и поздно вечером возвращалось, толкая в вагонах, выгородках и открытых платформах уголь и бензин, сборные деревянные дома и ящики с водкой, металлические конструкции и печенье-конфеты-галеты, огромные и красивые, сияющие яркой краской заграничные машины и отечественные походные электростанции. Весь этот груз в поселке перегружался на корабли и по Байкалу доставлялся потом на северную стройку.

Прежде тут проходила знаменитая Транссибирская магистраль. Из Иркутска она шла левым берегом Ангары и здесь этим берегом Байкала устремлялась дальше на восток. На знаменитой Транссибирской магистрали Кругобайкальская железная дорога была еще более знаменитой - по трудности прокладки и эксплуатации пути, а главное - по красоте и по тому особенному и необыденному духу, который и в работе, и в дороге может дать только Байкал. Теперь едут, чтобы доехать, а прежде ехали, чтобы еще и посмотреть, и вот в таком путешествии (теперь и слово-то "путешествие" кажется столь же устаревшим, как, например, "фаэтон") эти места были самое главное, самое желанно-жданное и самое памятное. Поезд останавливался не ради себя, а ради пассажиров на удобном и красивом береговом километре, и расписания так составлялись, чтобы он мог постоять, а люди могли поплескаться друг другу в лицо байкальской водичкой, поохать и поахать над всем тем, что есть вокруг, и ехать потом дальше с затаенной мечтой увидеть и почувствовать все это снова. На станции Байкал в истоке Ангары продавался в деревянных рядах омуль соленый, копченый, вяленый, жареный, с душиком, с лагушком, шла бойкая и непрерывная жизнь со свистками и гудками, с объявлениями по радио и криками на перроне - и куда все это подевалось?!

"Как в другой жизни было", - говорила бабушка, но говорила без печали, точно о молодости, которая в надлежащем порядке была и прошла.

Эта прежняя жизнь оборвалась по обыкновенной теперь уже причине: стали строить Иркутс-кую ГЭС, и потому железную дорогу с берега Ангары, который затоплялся новым водохранилищем, потребовалось переносить выше. От Иркутска ее спрямили, выведя без зигзагов сразу в самую южную точку Байкала - на станцию Култук, а эта часть дороги от Култука до Байкала осталась таким образом не у дел и уперлась в тупик. Одну рельсовую нитку сняли, другую на всякий случай оставили. Разъезды и полустанки опустели, люди выехали из поселков, которые за десятки лет стали им родными, бросив и огороды и дома. Только на станциях, бывших когда-то немаленькими и существовавших не одной лишь дорогой, теплилась еще жизнь; там, впрочем, старики и дотягивали.

Но то, что не разобрали вторые пути, теперь, когда загремел БАМ, оказалось кстати, и хотя поезд делал по-прежнему за день один круг, рано утром уходя и поздно вечером возвращаясь, шел он обратно тяжелей и был длиннее. Ягодников это расписание как нельзя более устраивало, чтобы доехать до нужного места, загрузиться, насколько позволит удача, а иной раз и под завязку за долгий летний день, и тем же ехалом в тот же день домой. А места здесь - не было бы счастья, да несчастье помогло, став малодоступными для горожан, все еще могли считаться богатыми. Проникал, конечно, и сюда по-родственному и по-приятельски горожанин, да не так, как по новой дороге, где он, как саранча, выгрызал все от черемши до кедровых орехов подчистую. Если бы не горбовики, в вагоне с этим народом было бы, пожалуй, даже просторно. С горбовиком, на который навьючены еще и одежда, и котелки, человек занимает в два раза больше пространства. Но, глядя на ягодников, Саня жалел уже, что не взял папин горбовик - из гнутой фанеры, легкий и удобный для таски, с которым можно падать, можно проваливаться в ямы: ягода останется в целостности и сохранности. Он бы и взял его,





да, примеряя вчера, обнаружил, что ляжки ему великоваты. Но ляжки, наверное, можно было укоротить, Митяй бы помог. Санин новый зеленый рюкзак с выпирающим ведром выглядел среди этой дружной и ладной оснащённости уж очень нелепо - будто парень собрался не в тайгу, а на базар.

- Станция Березай! Кому надо,- вылезай! - крикнул от ближней двери картавый и нездоровый голос. Митяй, заглядывая в окно, пояснил:

- Восьмидесятый. Счас будет полегче.

Километраж здесь сохранился прежний: когда-то досюда насчитывалось восемьдесят километров от Иркутска.

Поезд начал тормозить, и горбовики зашевелились, закачались, потом, отбивая в купейные боковины остающихся, поплыли к выходу, куда их втягивало, как в воронку, и с силой выносило на простор, разметывая на стороны, где они обретали наконец хозяев, окликающих друг друга и собирающихся опять своими группами. Вышло едва не половина народу, и в вагоне действительно стало полегче. Видно было, когда поезд тронулся, как вышедшие длинной очередью, выстроившись друг за другом, уходили в распадок мимо покинутых домов, сквозящих в окнах пустотой и холодом.

Отсюда, из окна вагона, картина эта поразила Саню. День поднимался пасмурный, серый, тайга еще не согрелась от света, и люди, удаляющиеся в темный распадок мимо нежилых домов, как мимо чужих гробов, казались уходящими туда в поисках своего собственного вечного пристанища и несущими в этих странных посудицах итоги своей жизни. Что там ягода?! Ягода так, для отвода глаз. И пока не скрылся из виду распадок, у Сани было полное и яркое ощущение того, что он смотрит изнутри на старое место захоронения, и над домами, точно над могилами, где-то там, по другую сторону, стоят, как и положено, памятники.

Папа, читая однажды книгу, вслух произнес оттуда фразу: "смертный ужас рождения". "Как, как?" - переспросила мама. Папа повторил. "Что за глупость?" - растерянно сказала мама, на что папа не сразу и задумчиво произнес: "Не такая уж, однако, и глупость. Тут есть что-то такое, что нам не положено знать. Тут, может, это случайно сказано, но за этой случайностью - бездна". Он отложил книгу и в еще большей задумчивости, неестественным, странно удаленным голосом продолжал: "Нам чудится, что мы живем, а нас, может, давно похоронили, но мы ничего не помним. Мы суетимся тут, хлещемся... Как перевертыши. И не понимаем, что нас нет, что это кто-то собрал наши грехи и страсти, чтобы посмотреть, какими мы были". Мама испугалась: "Перестань, не говори хоть при Сане свои глупости. Он же запомнит". Папа посмотрел на Саню и улыбнулся: "И правда глупости. Живи, Саня, так, будто ты только здесь и родился".

Но мама была права: Саня запомнил, и папина фраза из книжки прозвучала сейчас на остановке голосом того неизвестного, кто ее впервые сказал.

Раз за разом пошли тоннели, которыми славится дорога, недлинные и чистые, с красиво отделанными порталами; на освободившейся от вторых путей обочине стояли в тоннелях копны с сеном, в опущенное окно наносило горьковатой сыростью, мелькали белые наросты на стенах, извивающиеся полосами и похожие на сосуды в утробе, поднимался и нарастал, самооглушаясь, шум поезда, сильнее скрипел и болтался вагон, но странно: сумрак тоннелей нравился Сане, он начинал возбуждать в нём какое-то особое, глубинное чутье и не успевал - снова вырывались в широкий и светлый, небесный сумрак дня и снова ненадолго наддавал поезд. Саня не бывал здесь и смотрел во все глаза. За тоннелями в опасных местах тянулись оградительные от камнепада стенки, ровно и аккуратно, будто вчера только, выложенные; на одной из них торчал огромный, как танк, валун. Невозможно было представить, как удалось ему запрыгнуть на стенку и удержаться на ней, будто это и имел он целью: встать, словно памятник на





постаменте, в виду исполинской скалы в подтверждение того, что стена здесь стоит не напрасно.

Пялясь на дорогу, Саня и не заметил, когда к ним подсел пожилой, много старше Митяя, мужик с белым не по-здешнему и дряблым лицом, но по напорам, по уверенности в себе здешний. Сначала он услышал голос Митяя:

- А я тебя гляжу, гляжу... Уж думал, остался... Или проспал.

- Под самый конец залез. Едва протолкался,- ответил кто-то незнакомый, и тут Саня обернулся к ним от окна. Мужик в выпущенной поверх штанов толстой байковой рубаше сидел рядом с Митяем и, готовясь к еде, выуживал из раскрытого горбовика помидоры.

- Чаю утром не успел попить. Парень, что, с нами идет? - не глядя на Саню, спросил он.

- С нами.

- Ты не говорил.

- Ну и что? Когда бы я сказал?

- Да ладно, я сам в пристяжке. Дождь вот не снарядился бы, дождем пахнет.

Саня насторожился: он тоже не знал, что они с Митяем идут не вдвоем. С третьим в тайге, конечно, надежней и веселей, но отчего-то неприятно было, что он узнал о нем только сейчас.

На 94-м километре, где остановки не полагалось, но машинистов, своих мужиков, уговорили притормозить еще, быть может, вчера, посыпались вниз с задраенными горбовиками, как сбрасываемые части какого-то одного разобранного огромного существа. Так показалось Сане. Машинисты, поторапливая, подергивали состав, и люди, устанавливаясь на земле на ногах, смеялись и грозили в голову состава кулаками. В вагоне осталось всего несколько человек, но они были снаряжены не для тайги и ехали в райцентр. Митяй, обойдя вагон, повеселел и, вернувшись на свое место, задиристо сказал:

- Ты только, дядя Володя, не каркай. Дождя не должно быть. Правильно я говорю, Санек?

Они втроем сошли на 102-м, и Митяй, дурачась, замахал рукой: трогай, больше нам тут никто не нужен. \* \* \* - Пошто, говоришь, они все там остались, а мы сюда? А по то, Санек, что там ходьба легкая. Час, ну, чуть боле враскачку - и на месте. А тут покуль дойдешь, надо три раза ноги, как коней, менять, да сколь потов сойдет. Усек? - Митяй, обращаясь к Сане, говорил это и дяде Володе, который тоже шел здесь впервые, предупреждая их таким образом о трудной дороге.

Бессчетное число раз переходили они речку с берега на берег, поднимаясь встреч ей по распадку, то прыгая по камням, то перебираясь по упавшим поперек лесинам, то вброд, а то перешагивая в узких глубоких горловинах, в которых klokотала темная вода. Тропа на белых, как высушенных, камнях терялась, не оставалось, сколько ни всматривался Саня, никакой маломальс-кой приметы, но Митяй словно бы видел ее поверху и точно выходил на ее продолжение. Они шли то по крутому откосу, где больше сил тратилось, чтобы, упираясь, не скатиться вниз, чем передвигаться вперед, то по такому узкому прижиму рядом со скалой, на котором не только не разминуться вдвоем, но и одному было тесно, так что приходилось заплетать ноги, чтобы шагать в линию; то по высокой, выше человеческого роста, траве в заболоченных низинах. Но затем тропа, давая отдохнуть, забирала в лес, становилась сухой и широкой, шагу ничего не мешало, и идти по ней было одно удовольствие.

Тайга стояла тихая и смурная; уже и проснувшись, вступив в день, она, казалось, безвольно дремала в ожидании каких-то перемен. Про небо в густой белой мути нельзя было сказать, низко оно или высоко, из него словно вынули плоть, и осталась одна бездонная глухая пустота. Солнце сквозь нее не проникало, не было и ветра - тяжелые,



раздобрившие за лето деревья стояли недвижно и прямо, охваченные истомой, и только над речкой, повинувшись движению и шуму воды, подрагивали на березках и кустах листья. Время от времени вспархивали птицы, однажды, шагая, они вспугнули с тропы выводок рябчиков, но и он снялся и улетел спокойней обычного, чтобы не нарушать общей тишины.

Чем дальше уходили они, тем больше становилось кедрача и тем чаще задира Саня голову, высматривая шишки. Их было много, и висели они - как сидели в густой темной хвое, пузато заваливаясь на сторону в поисках опоры. А после того как Митяй, идущий впереди, поднял с тропы несколько потревоженных кедровкой, Саня стал сигать едва не под каждое дерево и тоже нашел одну шишку, наполовину вышелушенную, и две вместе на общем отростке, сорванные ветром и нисколько не пострадавшие. Как тут было утерпеть, чтобы не похвастаться! Саня побежал к Митяю, тот, не убирая шага, кивнул:

- Орех нонче есть. От и до. Но и кедровка, подлюка, уж полетела.- И добавил неодобри-тельно: - Ты шибко-то не прыгай. Скоро нам ног мало будет, на карачках поползем.

Это "скоро" началось после того, как, отдохнув и поев без чая, они оставили речку и взяли от нее влево. До этого все время тянулся подъем, то положе, то круче, он и теперь продолжался, но они пошли наискось горе и шли, обманывая ее, поначалу легко. Кедрач и ельник остались внизу, начался осинник с высокой и уже полегшей травой, закрывшей с обеих сторон тропу так, что ее нащупывали только ноги. Потом и осинник поредел, все снова пошло вперемешку - кедры, сосны, березы, ели, а гора, которую они старательно обходили, словно перехитрив их, разверну-лась и встала перед ними в рост. Они полезли.

Митяй по-прежнему шагал первым, и только он один знал, что ждет их впереди. Лес все больше и больше редел, освобождая небо,- казалось, вот-вот они заберутся наконец на вершину, откуда начнется крутой спуск: оттого и открылось небо. Дядя Володя дышал тяжело, с подсвис-том. Саня не решался обходить его, они шли все в том же порядке, как вышли, но Саня с дядей Володи теперь уже далеко отстали от Митяя, вздернутый горбовик которого, закрыв голову, двигался словно бы самостоятельно, на собственных ногах и не знал устал.

Крутизна действительно поубавилась, в лицо дохнуло свежестью... Саня шел с опущенной головой, глядя себе под ноги, и едва не натолкнулся на горбовик дяди Володи. За ним, развернувшись, стоял Митяй и ожидающе улыбался.

- Ты что это?.. Ты куда нас? - испуганно озираясь, спрашивал дядя Володя.

- Перекур! - объявил Митяй и сел на первое поваленное дерево, как-то без удовольствия, мрачно довольный тем, что он может им показать.- Дальше по-пластунски.

Саня не верил глазам своим: только что шли по живому, как всегда, на перевале аккуратному, весело и чисто стоящему лесу и вдруг... Отсюда, где они остановились, и докуда-то дотуда впереди, где это кончалось, огромной и неизвестно сколько длинной полосой вправо и влево все было снесено какой-то адской, чудовищной силой. Деревья, наваленные друг на друга, высоко вверх задирали вывороченные вместе с землей гнезда корней, топорщились сучьями с необлещен-шей еще желтой хвоей, валялись обломками, треснувшими вдоль и поперек. Таких завалов Саня и представить себе не мог. То, что не выворотило с корнями,- больше всего это были ели и кедры,- обломало, оставив уродливо высокие и расщепленные пни, стоящие в причудливом и словно бы не случайном порядке. Только кое-где уцелел подрост, и его зеленая хвоя и зеленые листья, уже осмелевшие и продирающиеся вверх, казались среди этого общего и чересчур наглядного поражения неуместной игрой в продолжающуюся жизнь.

- Что это?.. Что тут было? - едва опомнившись, спросил Саня.



- Смерч,- сказал Митяй.

- Какой смерч?

- Такой, с Байкала. Больше неоткуль. Я сам впервой такую разруху вижу. В прошлом году с отцом твоим по ягоду так же пошли - все нормально. А осенью я по орех... Может, главное, первый и увидел. Ты пойдй погляди, до чего ровно с этой стороны обрезал. Как отмерено.

Саня прошел и посмотрел: граница между повалом и живым, стоящим лесом действительно была на удивление ровной, хотя и с зазубринами, куда бросало с обреченной полосы дерева.

- Этак и убить могло,- угрюмо заметил дядя Володя, исподлобья озирая поверженное лесное воинство.

Митяй засмеялся, Сане послышалось - не без злости:

- Могло? Да тут не могло не пришибить, когда бы ты на ту пору тут оказался. Не гадал бы счас.

- Я дома сижу. Это ты по лесам шастаешь,- не остался в долгу дядя Володя.

- А новичков-то и хлещет. Их-то, главное, и караулит. Из-за их-то и происходит. Ишь, сколь тайги из-за одного такого погубило.

- Из-за кого? - вскинулся дядя Володя.- Что ты мелешь?!

- Откуль я знаю, из-за кого. Я тут не был.

- Ну и не болтай зря. Хозяин тайги сыскался! Как это вы все не любите новичков - что Николай Иванович, что Леха, что ты... Будто свой огород... захочу - пущу, не захочу - заверну.

Митяй усмехнулся.

- Ты меня с ими не равняй,- подумав, примирительно сказал он.- Я бы такой был, как ты говоришь, я бы тебя с собой не взял. И парня бы вот не позвал. Про Леху ты тоже зря: слышал звон, да не понял, где он. Леха аккуратный мужик, он порядок любит. А каждого в тайгу пускать - это на разор только, ее и так разорили.

- Я рядом с тобой живу - почему я каждый?

- Я не про тебя, дядя Володя, не про тебя,- вроде бы и искренне и еще более примирительно ответил Митяй, но даже Саня почувствовал в его голосе нетвердость и пустоту: что-то Митяй недоговаривал.

И вот через эту полосу шириной не более километра они продирались часа полтора. Прежде Митяй уже пытался чистить здесь ход, он и сейчас шел с топором, часто останавливаясь и обрубая сучья, отбрасывая их да сторону, и все равно идти было тяжело. Они то подлезали под стволы снизу, задевая и корябая горбовиками, то и дело осаживая назад и неуклюже заваливаясь, то забирались наверх и двигались по стволам, как по перекрещенным и запутанным мосткам, перебираясь со ствола на ствол, чтобы хоть несколько шагов, да вперед. Шли замысловатыми зигзагами - куда можно было идти. Дядя Володя стонал и ругался, пот лил с него ручьями. Большой зеленый узел, оказавшийся плащ-палаткой, с его горбовика сдернуло - ее подобрал Саня, который и без того замучился со своим поминутно сползающим с плеч рюкзаком. Спихватившись и увидев свою поклажу в руках у Сани, дядя Володя лишь бессильно кивнул головой: неси, пока не вышли, так и быть.

Но когда выбрались они наконец из завала и, пройдя еще минут пятнадцать по чистой тропке, поднялись на вершину, обрывисто стесанную слева и соступающую вправо каменистым серпантинном, когда неожиданно ударил им в глаза открывшийся с двух сторон необъятный простор в темной мерцающей зелени, победно споривший в этот час с белесой пустотой неба,- за все, за все они были вознаграждены. Среди огромных валунов, заросших брусничником, важно и родовито, не имея нужды тянуться вверх, стояли - не стояли, а парили в воздухе - могучие и раскидистые сосны, как и



должно им быть царственными и могучими в виду многих и многих немеренных километров вольной земли. Здесь был предел, трон - дальше и внизу, волнисто воздымаясь к дымчатому горизонту и переливаясь то более светлыми, то более темными пятнами, словно бы соскальзывая и упираясь, широким распахом стояла в таинственном внимании державная поклонная тайга.

Митяй, сняв горбовик, весело и громко возгласил:

- Ну вот, дядя Володя, а ты говорил! Зачем ты неправду говорил?!

Дядя Володя, тяжело, с кряхтением усаживаясь на камень, не отозвался.

- Вот это да-а! - ахнул Саня, подошедший последним.

- От и до, Санек, а?! - крикнул ему Митяй.- Запоминай - во сне потом будет сниться!

Где-то рядом, сердито заявляя свои права на эту округу, засвистел бурундук. Митяй засмеялся:

- Да уйдем, уйдем, парень. Посидим и уйдем. Что ж ты, дурак такой, и меня не помнишь? \* \* \* "Не может быть,- не однажды размышлял Саня,- чтобы человек вступал в каждый свой новый день вслепую, не зная, что с ним произойдет, и проживая его лишь по решению своей собственной воли, каждую минуту выбирающей, что делать и куда пойти. Не похоже это на человека. Не существует ли в нем вся жизнь от начала и до конца изначально и не существует ли в нем память, которая и помогает ему вспомнить, что делать. Быть может, одни этой памятью пользуются, а другие нет или идут наперекор ей, но всякая жизнь - это воспоминание вложенно-го в человека от рождения пути. Иначе какой смысл пускать его в мир? Столь совершенного, совершенству которого Саня начинал удивляться все больше и больше, все больше упираясь в этом удивлении в какую-то близкую и ясную непостижимость; столь законченного в своих формах и способностях и столь возвышенного среди всего остального мира - и вдруг, как перекасти-поле, на открытую дорогу - куда ветром понесет? Не может быть! К чему тогда эти долгие и замечательные старания в нем? Столько сделать внутри и оставить его без пути? Это было бы чересчур нелепо и глупо".

Сане казалось, что таким именно он это место и видел, как можно видеть предстоящий день, стоит только сильнее обычного напрячь память. Не совпадали лишь кой-какие детали. Вернее, он не заставил себя рассмотреть их в подробностях, увидев главное и решив, что этого достаточно. Через пять минут, после того как подошли к шалашу, Саня уже не сомневался, что он бывал здесь. Конечно, он не бывал в действительности, но он словно бы, не свернув с тропы, как лежащего перед ним пунктира, пришел туда, куда должен был прийти, и застал то, что должен был здесь застать. Но застал и увидел в полной картине, а не в голых представлениях, во всех красках и полной, не имеющей нигде больше подобия, жизни.

Славное это было место: на сухом взгорке среди елей и кедров. Под защитой огромного, густо и широко разросшегося кедра и стоял шалаш, крытый корой и ветками и устланный от земли старым лапником и травой. Рядом чернело кострище, аккуратно и по-хозяйски обустроенное и обложено камнями, с наготовленным таганком и свисающими с него закопченными березовыми рогульками для котлов, а чуть поодаль со стороны речки высоко упавшую лесину сверху затесали и приспособили под стол. И чисто, обжито было здесь: ни бумаги, ни банок, ни склянок - порядок, заведенный человеком, поддерживала и тайга. Сухие сучья, накиданные ветром, словно приготовлены были для растопки, чтобы не искать ее человеку, и загорелись сразу. Митяй, распорядившись весело и нетерпеливо, сгонял Саню за водой, и, пока дядя Володя нарезал хлеб, пока доставали каждый с излишней готовностью принесенную еду и раскладывали ее в ряд на длинном и узком постолье, пока то да сё - чай был готов. Пили его после трудной дороги всласть и, попив, разморились, ословели от сытости, от





густо и недвижно стоящего воздуха и усыпляющего бульканья воды в речке - потянуло отдохнуть. Позевывая, Митяй позволил:

- Ладно, полчаса на отлежку - само то. Только чтоб ни одна нога не хрумкала. Успеем, наломаемся.

Он лег подле затихавшего костра, подложив под голову шапку и подстелив под себя телогрейку, которая зимовала и летовала у него здесь не один уже год и превратилась в подобие телогрейки, не потерявшее все же, по-видимому, способности греть и смягчить. Дядя Володя ушел в шалаш и скоро засопел там, а Саня сидел у лесины, где пили чай, на камне и, расслабившись, безвольно и дремотно, смотря и не видя, слушая и не слыша, открылся для всего, для всего, что было вокруг: для широкой заболоченной низины за речкой, сплошь заросшей голубичником и размеченной корявыми березками; для низкого неба, начинающего постепенно натекасть какой-то мутной плотью; для приглушенных и зыбких звуков, доносящихся, как неверное эхо, из глубины переполненного тишиной мира. И все это вливалось, входило, вносилось нарочком и ненарочком в забывшегося в сладкой истоме парня, все это искало в нем объединяюще-продолжительного, в иную, не человеческую меру участия и правильного расположения - все это заворожало и обморило его до того, что захотелось застыть здесь как истукану и никуда не двигаться.

Было душно; по щеке неподвижно лежащего на боку с закрытыми глазами Митяя струился пот, его пила большая сизая муха, то отбегая, то снова припадая бархатной членистой головкой к натекающей влаге и не давая ей скатиться за шею. Эта муха в конце концов раз будила Митяя, он сел, встряхнулся, отер рукавом пиджака пот и осмотрелся.

- Кончай ночевать, мужики,- негромко сказал он, позевывая и внимательней всматриваясь в небо.- Выпросил ты все ж таки дождя, дядя Володя, выпросил. Надо успеть до него.

А через минуту уже опять весело и напористо распоряжался:

- Давай, давай, Санек, пошевеливайся. Чтоб, главно, полведра сегодня у тебя стучало. Ого, ты гляди, дядя Володя-то у нас!.. Держись, ягода! - Он увидел, как дядя Володя, подстегнув на ремень котелок, встал на изготовку с совком в руке.- А давай на спор, дядя Володя, что я без совка больше твоего нахвостаю. Давай? Боишься? Чего ее совком драть, когда ягода такая?! Ты ее рукой в леготочку натрясешь. И ягода будет чистая - хоть на базар. Совком только лист обрывать, ты вполовину с листом ее домой попрешь.

Дядя Володя, не отвечая, первым двинулся к речке.

- Почали, Санек, почали,- возбужденно повторял Митяй, когда и они перешли речку и встали перед ягодником. Дядя Володя уходил слева в глубину низины, под ногами его чавкала и переливалась вода. Издав губами отрывистый, понукающий звук, Митяй наклонился над кустарником, и Саня услышал, как голо, отрывисто упали в его котелок первые ягоды, а потом, падая и падая, перешли в частый и мягкий бормоток. \* \* \* Столько ягоды Саня никогда еще не видывал. И не представлял, что ее может столько быть. Он ходил раньше не раз с бабушкой за малиной, ходил в прошлом году с папой и Митяем здесь же, на Байкале, в падь Широкую за черной смородиной, то был первый его серьезный выход в тайгу, окончившийся удачно, но они брали тогда по оборышам, подчищая оставшееся после других, и хоть набрали хорошо, большого удовольствия это не доставляло. Тут же на этот раз они были первые, никто до них ягоду тут не трогал и не мял, аросло ее на диво, в редкий год, по словам Митяя, удастся такой урожай. Теперь Саня знал, что это такое - кусты ломаются от ягоды: они действительно ломались, лежали от тяжести на земле или стояли согбенно, поддерживая друг друга в непосильной ноше.

Саня раздвигал кусты и замирал от раскрывшегося потревоженного густоплодья. Дымчато-синяя, сыто и ясно подрагивающая сыпь ослепляла, вызывая и удивление, и





восторг, и вину, и что-то еще, чему Саня не знал имени и что западало в душу все это вместе скрепляющим чувством - смутным и добротворным. Нагибая к себе куст, обряженный то круглыми, то продолговатыми плодами, Саня приступал к нему с игрой, которая вызвалась сама собой и нравилась ему. "Не обижайся,- наговаривал он,- что я возьму тебя... я возьму тебя, чтоб ты не пропала напрасно, чтоб не упала на землю и не сгнила, никому не дав пользы. И если я тебя не возьму, если ты не успеешь упасть на землю и сгнить, все равно тебя склюет птица или оберет зверь - так чем же хуже, если сейчас соберу тебя я? Я сберегу тебя,- Сане не хотелось признаваться, что он будет варить или толочь ягоду, это казалось варварством,- и зимой маленькая девочка по имени Катя, которая часто болеет...- И грубым, бестактным казалось называть себя - то, что он станет есть ягоду, и Саня вспоминал свою двоюродную сестру, которой и в самом деле перепало немало варенья, так что Саня здесь не совсем лгал....и маленькая девочка по имени Катя... она очень любит голубицу, любит тебя, ты очень помогаешь этой девочке. Когда мы приедем домой, ты увидишь ее и поймешь, как ты нужна ей... не обижайся, пожалуйста".

Пальцы скоро научились чувствовать податливость ягоды, ее крепость и налив, и трогать ее то одним легким касанием, то осторожным нажимом, то с мягкой подкруткой, чтобы не оборвать плоть, когда ягода не хотела отставать от ростка; пальцы делали свое дело быстро и на удивление ловко, чего Саня и не подозревал в себе, словно и это пришло к нему как недалекое и желанное воспоминание. И, обминая, обласкивая каждую ягодку, подталкивая их одну за другой в ладонь и ссыпая затем в пристегнутый к ремню бидон, болтавшийся у него на животе, повторяя во множестве одни и те же движения, он и не замечал их однообразия, как не замечал времени, с головой уйдя в это живое и чувственное рукоделье и потерявшись совершенно в его частом и густом узоре. И когда что-то - посторонний звук или неосторожное движение приводило его в память, он, с трудом узнавая, озирался вокруг: вот он, оказывается, где, это он, оказывается, ягоду берет, а ему чудилось... Но что ему чудилось, сказать было нельзя.

И как приятно было, не заглядывая в бидон, ощущать его все возрастающую и возрастающую тяжесть, а потом, опуская ягоду, словно бы ненароком натолкнуться рукой на его поднявшееся теплое нутро: так быстро! И идти с наполненным бидоном к шалашу, постоять подле ведра, прежде чем высыпать в него, засмотревшись на парную и живую, томно дышащую, каждая ягодка отдельно, светло-глянцевую синеву сбора. Снизу, когда Саня высыпал голубицу в ведро, она была уже отпотевшей и темной и казалась задохнувшейся. Отсюда, снизу, можно было кинуть наконец несколько ягодок в рот, обмереть на мгновение от растекшейся под языком сладости и нежно тающей плоти и, причмокивая, медленно возвращаться обратно к кустарнику, а там на десять, на пятнадцать минут и вовсе забыть про бидон, словно бы допивая начатое снадобье, все дополняя и дополняя его неоговоренную меру.

Нет, нету на свете ягоды нежней и слаще голубицы, и стойким надо быть человеком, чтобы принести ее из лесу в посудине.

Пошел дождь, но никто из них троих ничем не отозвался на него, не заторопился в шалаш, каждый еще больше заторопил руки. Митяй и Саня по-прежнему держались неподалеку друг от друга, к ним постепенно приближался из глубины болотины дядя Володя. Дождь, падая на кустарник, шумел густо и звучно; мокрую ягоду брать стало трудно, она давилась, мялась, к рукам налипали листья. Быстро темнело, и только тогда, спохватившись, Митяй прокричал отбой. Саня успел к этой поре высыпать в ведро три трехлитровых бидона, наполнив его больше чем наполовину.

В темноте и под дождем они рубили и подтаскивали дрова, нагатавливая их на сырую и беспокойную ночь. Митяй ругал и себя, и дядю Володю за то, что, как маленькие, заигрались на ягоде и припозднились, но чувствовалось, что ругается он так,



для порядка, довольный сам, что брали до последнего и успели немало. Гоношиться под дождем с варевом не захотели, вскипятили опять чай и, забравшись в шалаш, пили его при свете костра долго и сладостно, как можно наслаждаться им только в тайге после нелегкого и удачного, несмотря ни на что, дня.

Это была первая Санина ночь в тайге - и какая ночь! - точно взявшаяся показать ему один из своих могучих пределов. Тьма упала - хоть ножом режь, в ней не видно было ни неба за кругом костра, ни сторон, сплошным шумом шумел там дождь. Он то примолкал ненадолго, то припускал сильнее, и сильнее тогда начинал шипеть костер, сопротивлявшийся воде, с досадой выстреливая вверх угольками и принимающийся время от времени для острстки поддувно и сердито завывать. Но огонь горел хорошо, Митяй перед тем, как окончательно укладываться, навалил на костер, положив их рядом, две сухие лесины, которых должно было хватить надолго. Саня сидел и смотрел, как мечутся по этим лесинам маленькие древесные муравьи, как отгорают и опадает щепа, обнажая источенное ими, похожее на опилки, зернистое крошево. Когда он поднимал глаза к небу, там все так же стояла исполинская тьма, начинавшаяся сразу от земли и поднимавшаяся до неизвестно какой бесконечности. Дождь, проходящий сквозь нее, казалось, мог быть только черным, И до чего жалок, беспомощен и игрушечен, должно быть, представлялся откуда-то оттуда этот костер! Но кому, кому мог он представляться, кто, кроме сидящего подле него Сани, мог его видеть? Но не для того ли и тьма, тьма-тьмущая, чтобы можно было его видеть из таких далей, которые трудно представить? А рядом Саню настороженного и готового ко всему, ждущего чего-то с неба ли, со стороны ли с нетерпением и уверенностью: нет, что-то должно случиться... Такая ночь не напрасно. Вот спит уже Митяй, давно похрапывает укрывшийся с головой плащ-палаткой дядя Володя - почему только ему, Сане, не хочется спать? Но не потому ли и уснули они, не потому ли их усыпили, чтобы он мог остаться один и наедине?.. Кто внушил ему, и это внушение он ощущал в себе все отчетливей, будто сразу не расслышал и только после расшифровал по оставшимся звукам сказанное, - кто внушил ему, что именно теперь и должно что-то для него открыться? Нетерпение становилось все сильнее - и ближе, значит, было исполнение, точно что-то, невидимое и всесильное, склонилось и рассматривает, он ли это. Нет, не рассматривает, Саня вдруг понял, что он ошибается и рассматривать его не могут, но это что-то улавливает все его чувства, всю исходящую из него молчаливую тайную жизнь и по ней определяет, есть ли в нем и достаточно ли того, что есть, для какого-то исполнения.

Дождь опять стал примолкать, во вздымающемся воздухе ощутимо донесся запах багульника и кедровой смолы. Перевернулся с боку на бок и что-то пробормотал спросонья Митяй. И еще тише стал дождь, он висел над костром на темном фоне парящим бусом. Саня замер, приготовившись, почему-то предчувствуя, что вот сейчас... И вдруг тьма единым широким вздохом вздохнула печально, чего-то добившись, затем вздохнула еще раз. Дважды на Саню дохнуло звучанием исполински-глубокой, затаенной тоски, и почудилось ему, что невольно он отшатнулся и подался вослед этому возвеченному, неведь как донесшемуся зову - отшатнулся и тут же подался вослед, словно что-то вошло в него и что-то из него вышло, но вошло и вышло, чтобы, поменявшись местами, сообщаться затем без помехи. На несколько мгновений Саня потерял себя, не понимая и боясь понять, что произошло, приятное тепло сплошной мягкой волной разлилось по его телу, напряжение и ожидание исчезли новее, и с ощущением какой-то особенной полноты и конечной исполненности он поднялся и перешел в шалаш.

Он уснул быстро, пристроившись на свободное место между Митяем и дядей Володи, но, засыпая, услышал, как снова припустил дождь и закапало сверху сквозь



ветки и корье. И вдруг проснулся - дядя Володя, перегнувшись через него, расталкивал Митяя и испуганно шептал:

- Митяй! Митяй! Поднимайся! Кто-то ходит.

- Кто ходит... Медведь, наверно, ходит,- недовольно отвечал Митяй. Кому тут еще ходить?!

- Слышишь? Ты послушай!

Митяй, продолжая сердито ворчать, поднялся и стал поджиглять костер.

Затрещали посыпав-шиеся в стороны искры, затем ровно загудел огонь. Когда Митяй вернулся на свое место, Саня уже спал: слова о медведе мало встревожили его - или он окончательно не проснулся, или подействовал спокойный голос Митяя.

И еще раз он услышал сквозь сон, как дядя Володя снова расталкивает Митяя, но слова его звучали где-то далеко-далеко и были плохо слышны. И там же, далеко, но с другого конца Митяй ворчливо объяснял:

- Да ты не бойся, спи. Походит и уйдет. Ему же интересно поглядеть, кто это тут, вот он и выглядывает. Больше мы ему ни про что не нужны. Если бы ты тут жил, а к тебе бы, главное, медведи без спросу приперлись, на твою территорию,- тебе что, неинтересно было бы? И ты бы так же бродил.

Больше Саню уже ничто не могло разбудить. \* \* \* Его растормошил Митяй. Первое, что увидел Саня, открыв глаза, было солнце - не случайно выбравшееся из-за туч, чтобы показаться, что оно живо-здорово, а одно-единственное во все огромное чистое небо, склоненное от горы за речку и дальше, чтобы солнцу легче было выкатиться на простор. Возле горы лежала еще тень, слабая и начинающая подтаивать, от нее, казалось, и натекала небольшая сырость, но вся низина сияла под солнцем, и взрывчато, звездчато взблески-вали там на кустах яркими вспышками погибающие капли воды. И куда все так скоро ушло - и беспросветная, бесконечная тьма в небе, и дождь, и ночные тревоги и страхи - нельзя было представить.

Митяй успел не только вскипятить чай, но и приготовить варево, которое дружным согласием решили оставить на обед - перед тем как уходить обратно. Костер догорал, слабый дымок редкой и тонкой прядью уходил прямо вверх, куда чувствовалась общая тяга. Саня и ступал как-то необыкновенно легко и высоко, словно приходилось затрачивать усилия не для того, чтобы ступать, а чтобы удержаться на земле и не взлететь. Деревья стояли с задранными ветками, и вытянуто, в рост, прямилась трава.

Они попили чаю и посидели еще, наслаждаясь солнцем и поджидая, пока оно подберет мокроту. Митяй был весел и громок и потрунивал над дядей Володией, над его ночным бдением. Дядя Володя по обыкновению отмалчивался, но на этот раз с видимой затаенностью и злостью. Это в конце концов почувствовал и Митяй и отстал от него. Саню же все в это яркое утро приводило в восторг - и то, как обрывались с кедра и шлепались о шалаш и о землю последние крупные капли дождя; и то, как умиротворенно и грустно, вызывая какую-то непонятную сладость в груди, затихал костер; и то, как дурманяще и терпко пахла после дождя лесная земля; как все больше и больше выбеливалась низина, куда им предстояло идти; и даже то, как неожиданно и дурноголосо, напугав их, закричала над головами кедровка.

Солнце вошло в силу, воздух нагрелся - пора было приниматься за дело. Саня заглянул в свое ведро, стоящее по-прежнему в рюкзаке под кедром, ягода в нем заметно осела и сморилась, и все-таки больше двух бидонов, прикинул он, в ведро уже не войдет. Можно не торопиться. Но только начал он брать, только потекла сквозь пальцы первая ягода, еще больше налившаяся, отличающаяся от вчерашней тем, что произошло в эту ночь, и вобравшая в себя какую-то непрос-тую ее силу, только окунулся он опять в ее живую и радостную россыпь - руки заработали сами собой, и удержать их было уже невозможно. Под солнцем голубица скоро посветлела и стала под цвет неба стоило Сане



на секунду поднять глаза вверх, ягода исчезала совершенно, растекалась в синеве воздуха, так что приходилось затем всматриваться, напрягать зрение, чтобы снова отыскать ее - по-прежнему рясную, крупную, отчетливо видимую.

Он и не заметил, как набрал один бидон, потом другой... Ведро было полнехонько, а он только разохотился. Обвязав сверху ведро чистой тряпицей, которую он для этой надобности и прихватил с собой, чтобы не высыпалась по дороге ягода, он неторопливо стал спускаться по тропке обратно. Митяй, не разгибая спины, рывками шевелился за строем реденьких березок справа, дядю Володю видно не было, он, похоже, предпочитал оставаться один. От избытка счастья Саня сладостно вздохнул - так хорошо было, так светло и покойно и в себе и в мире этом, о бесконечной, яростной благодати которого он даже не подозревал, а только предчувствовал, что она где-то и для кого-то может быть. Но чтоб для него!.. И в себе, оказывается, многого не знал и не подозревал - этого, например, нечеловечески сильного и огромного чувства, пытающегося вместить в себя все сияние и все движение мира, всю его необъяснимую красоту и страсть, всю обманчиво сошедшую в одно зрение полноту. Саню распирало от этого чувства, он готов был выскочить из себя и взлететь, поддавшись ему... он готов был на что угодно.

Захотелось вдруг пить, и он, спустившись к речке, попил, прихлебывая из ладони.

Солнце поднялось высоко, день раздвинулся шире и стал глубже и просторней. Все вокруг было как-то по-особенному ярко и свежо, точно Саня только что попал сюда совсем из другого, тесного и серого, мира или, по крайней мере, из зимы. Воздух гудел от солнца, от его ровно и чисто спадающего светозарного могучего течения; теперь, после ночи, пила и не могла напиться и насытиться солнцем земля, и так до новой ночи, когда небо опять потребует от нее свою долю. Всякий звук, всякий трепет листочка казался не случайным, значащим больше, чем просто звук или трепет, чем обычное существование их во дню, как и сам день не мог быть лишь движением времени. Нет, это был его величество и сиятельство день, случающийся на году лишь однажды или даже раз в несколько лет, в своем величии, сиянии и значении доходящий до последних границ. В такой день где-то - на земле или в небе - происходит что-то особенное, с него начина-ется какой-то другой отсчет. Но где, что, какой? Нет, слишком велик и ничему не подвластен, слишком вышен и всеславен был он, этот день, чтобы поддался он хоть какому-нибудь умствен-ному извлечению из себя. Его возможно лишь чувствовать, угадывать, внимать - и только, а неизъяснимость вызванных им чувств лишь подтверждает его огромную неизъяснимость.

Саня принялся опять за ягоду, за дело, которое было ему по силам, но, смущенный и раздоса-дованный то ли неумелостью, то ли оплошностью своей, помешавшим понять ему что-то важное, что-то такое, что было совсем рядом и готово было помочь ему, расстроенный и недовольный собой, он провозился с последним бидоном долго. "Что-то", "какой-то", "где-то", "когда-то" - как все это неверно и неопределенно, как смазано и растерто в туманных представлениях и чувствах, и неужели то же самое у всех? Но ведь, как никогда прежде, близок он был к этим "что-то" и "какой-то", ощущал тепло и волнение в себе от их дыхания и вздрагивал от их прикос-новения, с готовностью раскрывался и замирал от их обещающего присутствия. И чего же не хватало в нем, чтобы увидеть и понять? Какого, способного отделиться, чтоб встретить и ввести вовнутрь, существа-вещества, из каких глубин какого изначалья? Или его только дразнили, играли с ним в прятки, заметив его доверчивость и любопытство? И как знать: если бы он оказался в состоянии угадать и принять в себя эту загадочную и желанную неопределенность, раскрыть и назвать ее словом - не стало бы это примерно тем же, что говорящий попугай среди людей?

Увидев, что дядя Володя направляется к шалашу, Саня пошел вслед за ним и хотел высыпать из своего бидона в его далеко не полный горбовик, но дядя Володя





неожиданно грубо и резко не позволил. Саня, очень удивленный, отступил и поставил бидон на землю рядом с рюкзаком. Делать больше было нечего. Он сел на камень возле потухшего костра и, задумавшись и заглядевшись без внимания, окунулся опять в тепло и сияние до конца распахнувшегося, замершего над ним во всей своей благодати и мощи, раскрытой бездонности и нежности, без сомнения, заглавно-го среди многих и многих, дня. Он сидел и слабой, усыпленной, замороженной и отрывистой мыслью думал: "Что же мне еще надо? Так хорошо! В одно время он, такой день, и я... в одно время и здесь..."

И когда на обратном пути поднялись они с тяжелой поклажей на вершину перевала, на тот таежный каменный "трон", откуда волнами уплывали вдали леса; когда, встав на краю обрыва, оглядел на прощанье Саня это сияющее под солнцем без конца и без края и синее уже под ним величественное в красоте и покое первобытное раздолье - от восторга и непереносимо-сладкой боли гулко и отрывисто застучало у Сани сердце: пусть, пусть что угодно он это видел! \* \* \* В поздних и мягких сумерках они вышли к Байкалу, перешли через рельсовую дорогу и в высоко и округло, как остров, стоящем лесном отбоя между дорогой и берегом скинули со спин поклажу. Мягкие сумерки - верный признак того, что сегодняшний день по звонкой и чистой мощи своей не повторится ни завтра, ни послезавтра, долго-долго. Земные праздники мы знаем - то был праздник неба, который оно, небо, не может справлять только в своих просторах, то было щедрое пограничье между двумя пределами. И вот он кончился, и вот оно минуло. Догорел свет, небо потухло, не давая глубины, и затмилось; сглупа выскочили над Байкалом слабые, мутные звездочки и тут же, как одернутые, скрылись. Резко и отчетливо выделяясь, темнел лес, не вставший еще сплошной стеной, выдающийся разнорост и глубину, в нем длинными и тоскливыми вздохами пошумливал верховой ветер. Резко очерчивались густой синью и дальние берега на той стороне Байкала; вода в море, притушенная скучным небом, едва мерцала дрожащим и искривленным, как бы проникающим из-под дна свечением.

До поезда оставалось минут сорок. Растянувшись на траве у края обрывистого берега, они не шевелились: не было сил. Гудели ноги, гудели спины - без боязни хоть сколько-нибудь ошибиться, это можно было сказать о всех троих. Они замешкались сначала на ягоде из-за дяди Володи, которому хотелось добрать горбовик, потом замешкались в дороге, соблазнившись шишками, когда Митяй отыскал припрятанный колот и показал, как им пользуются в деле. Так что шли они из тайги с двумя разными урожаями - не шли, а, припозднившись больше, чем можно, последние километры бежали едва не бегом, чтобы успеть при свете. В темноте по этой тропе сам черт ногу сломит, не то что они. Спина у Сани саднила: нижней тяжелой кромкой ведра, прыгающего при каждом шаге, он набил себе кровавую полосу, только теперь по-настоящему оценив достоинства горбовика. Дядя Володя к концу дороги совсем запалился, он и теперь дышал со всхлипами, делая попытки ругаться и давясь словами. Митяй молчал; привычный и не к таким марш-броскам, он устал, но не изнемог и лежал отдыхая, а не так, как Саня с дядей Володей пластом, мало что и видя и слыша вокруг себя.

Отдышавшись, Митяй поднялся, нашел справа от леска спуск к Байкалу, у воды разделся до пояса и стал шумно плескаться, пошлепывая руками по телу и вскрикивая; Саня подумал, что и ему надо бы тоже помыться, но ноги не поднимали. Митяй, взбодренный и повеселевший, вернулся с котелком воды и, развязывая притороченную к горбовику торбу с оставшейся едой, сказал:

- Хорошо бы чаек сварганить, да не успеем.

Саня потянулся к рюкзаку, достал из него хлеб и мятые яйца, кое-как вытянул из кармашка кружку. Что хотелось, так это пить. Теперь, когда немного отдохнули и вязкая





горечь из горла ушла, давала знать себя глубокая, требовательная жажда. Он залпом выпил кружку, хотелось еще. Дядя Володя тоже потянулся к котелку и принялся пить через край, толстое и морщинистое горло его ходило как мехи. Митяй подождал, пока дядя Володя оторвется, выплеснул остатки и протянул ему котелок:

- Теперь твоя очередь.

- Вон парень сходит,- прохрипел дядя Володя, передавая котелок Сане.

Саня спустился, заставил себя умыться, вытер лицо рукавом рубашки и, замерев, прислушался. Все вокруг затаенно жило своей отдельной, не сходящейся в одно целое, жизнью: так же пошум-ливал в верхушках деревьев вялый, прерывистый ветер, слабо шевелилась с облизывающимся причмокиванием вода, пестрела, отдавая теплом, россыпь камней на берегу, плавали в воздухе над водой с резким моторным звуком круглые черные жуки. Сверху доносились неразборчивые и недружелюбные голоса дяди Володи и Митяя. Когда Саня подошел, они смолкли. Он снова налил в кружку воды и принялся очищать яйцо. Есть по-прежнему не хотелось - по-прежнему хотелось пить, но, чтобы получить у кого-то право на воду, он заставил себя проглотить невкусную и теплую мякоть яйца.

Рюкзак сполз с ведра, и оно, обвязанное сверху тряпкой, выделялось в темноте резкой, раздражающей глаз белизной. Саня не поленился и прикрыл ведро.

- Ну и что ты собираешься делать с этой ягодой? - вдруг спросил дядя Володя, спросил негромко, но как-то значительно, с ударением.

- Не знаю,- пожал плечами Саня. Он решил, что дядя Володя спрашивает потому, что не уверен, сумеет ли он, Саня, обработать без взрослых ягоду. Сварю, наверно, половину... половину истолку.

- Нельзя ее варить,- решительно и твердо сказал дядя Володя. И еще решительней добавил: - И есть ее нельзя.

- Почему?

- Кто, какой дурак берет ягоду в оцинкованную посуду? Да еще чтоб ночевала! Да такая ягода!

Саня ничего не понимал: какая такая особая ягода? При чем здесь ночевала? Что такое оцинкованное? Шутит, что ли, дядя Володя?

Митяй не сразу, с какой-то излишней задумчивостью и замедленностью поднялся, нагнулся над Саниным рюкзаком и стащил с ведра тряпку. И увидел ведро действительно оцинкованное.

- Ты, гад!..- оборачиваясь к дяде Володе, начал он.- Ты что же это делаешь, а? Ты что же это?..- Он двинулся к дяде Володе, тот вскочил.- Ведь ты же видал, ты знал, ты, главное, там видал! И дал парню набрать, дал ему вынести - ну, не гад ли, а?! Я тебя!..

- Только тронь! - предупредил дядя Володя, отскакивая, и закричал: - А ты не видал? Ты там не видал? Ты не знал? Чего ты ваньку валяешь? Оно на виду, оно открытое стояло! Ты что, маленький?!

Митяй опешил и остановился.

- Да видал! Видал! - завопил он.- Знал! Но у меня, главное, из головы вон. Я смотрел и не видел. А ты, гад, ждал. Я забыл, совсем забыл!

- Больше не забудешь. Учить вас надо. И парень всю жизнь будет помнить.

Митяй заметался, словно что-то подыскивая под ногами, на глаза ему попало ведро с открытой ягодой,- решительно и вне себя он выхватил это ведро из рюкзака и резким и быстрым движением вымахнул из него ягоду под откос. Она зашелестела, скатываясь, и затихла.

- Митяй, ты что?! - вскочил до того сидевший и все еще ничего не понимавший Саня.- Зачем ты, Митяй?! Зачем?!



- Нельзя, Саня,- торопливо и испуганно забормотал Митяй, и сам пораженный той решимостью, с которой он расправился с ягодой.- Нельзя. Она, главное, за ночь сок дала... сам отравишься и других... никак нельзя в оцинкованное... Ну, идиот я, ну, идиот. От и до. Ходи с таким идиотом...

Он сел и затих. Саня подобрал ведро и поставил его в рюкзак, потом аккуратно, со странной внимательностью следя за собой, как за посторонним, застегнул рюкзак на все застежки.

- Теперь, дядечка Володечка, ходи и оглядывайся,- неожиданно спокойно сказал Митяй.- Такое гадство в тайгу нести... мало тебе поселка?!

- Сядешь,- так же спокойно ответил дядя Володя.- Сидел и еще сядешь.

- А я об тебя руки марать не буду,- уверенно и как дело решенное заявил Митяй.- На тебя первая же лесина сама свалится, первый же камень оборвется. Вот увидишь. Они такие фокусы не любят... ой, не любят!

Стал слышен стукоток поезда. ...Сане снились в эту ночь голоса. Ничего не происходило, но на разные лады в темноту и пустоту звучали в нем разные голоса. И все они шли из него, были частью его растревоженной плоти и мысли, все они повторяли то, что в растерянности, в тревоге или в гневе мог бы сказать он. Он узнавал и то, что мог бы сказать через много-много лет. И только один голос произнес такое, такие грязные и грубые слова и таким привычно-уверенным тоном, чего в нем не было и никогда не могло быть.

Он проснулся в ужасе: что это? кто ото? откуда в нем это взялось? 1981

## Даниил Гранин «Милосердие»

В прошлом году со мной приключилась беда. Шел я по улице, поскользнулся и упал... Упал неудачно, хуже некуда: лицом о поребрик, сломал себе нос, все лицо разбил, рука выскочила в плече. Было это примерно в семь часов вечера. В центре города, на Кировском проспекте, недалеко от дома, где я живу.

С большим трудом поднялся — лицо залито кровью, рука повисла плетью. Забрел в ближайший подъезд, пытался унять платком кровь. Куда там — она продолжала хлестать, я чувствовал, что держусь шоковым состоянием, боль накачивает все сильнее и надо быстро что-то сделать. И говорить-то не могу — рот разбит.

Решил повернуть назад, домой.

Я шел по улице, думаю, не шатаюсь; шел, держа у лица окровавленный платок, пальто уже блестит от крови. Хорошо помню этот путь — метров примерно триста. Народу на улице было много. Навстречу прошла женщина с девочкой, какая-то парочка, пожилая женщина, мужчина, молодые ребята, все они вначале с любопытством взглядывали на меня, а потом отводили глаза, отворачивались. Хоть бы кто на этом пути подошел ко мне, спросил, что со мной, не нужно ли помочь. Я запомнил лица многих людей — видимо, безотчетным вниманием, обостренным ожиданием помощи...

Боль путала сознание, но я понимал, что если лягу сейчас на тротуаре, преспокойно будут перешагивать через меня, обходить. Надо добираться до дома.



Позже я раздумывал над этой историей. Могли ли люди принять меня за пьяного? Вроде бы нет, вряд ли я производил такое впечатление. Но даже если бы и принимали за пьяного... — они же видели, что я весь в крови, что-то случилось — упал, ударился, — почему же не помогли, не спросили хотя бы, в чем дело? Значит, пройти мимо, не ввязываться, не тратить времени, сил, «меня это не касается», стало чувством привычным?

Раздумывая, с горечью вспоминал этих людей, поначалу злился, обвинял, недоумевал, негодовал, а вот потом стал вспоминать самого себя. И нечто подобное отыскивал и в своем поведении. Легко упрекать других, когда находишься в положении бедственном, но обязательно надо вспомнить и самого себя. Не могу сказать, что при мне был точно такой случай, но нечто подобное обнаруживал и в своем собственном поведении — желание отойти, уклониться, не ввязываться... И, уличив себя, начал понимать, как привычно стало это чувство, как оно пригрелось, незаметно укоренилось.

Раздумывая, я вспоминал и другое. Вспоминал фронтовое время, когда в голодной окопной нашей жизни исключено было, чтобы при виде раненого пройти мимо него. Из твоей части, из другой — было невозможно, чтобы кто-то отвернулся, сделал вид, что не заметил. Помогали, тащили на себе, перевязывали, подвозили... Кое-кто, может, и нарушал этот закон фронтовой жизни, так ведь были и дезертиры, и самострелы. Но не о них речь, мы сейчас — о главных жизненных правилах той поры.

И после войны это чувство взаимопомощи, взаимобязанности долго оставалось среди нас. Но постепенно оно исчезло. Утратилось настолько, что человек считает возможным пройти мимо упавшего, пострадавшего, лежащего на земле. Мы привыкли делать оговорки, что-де не все люди такие, не все так поступают, но я сейчас не хочу оговариваться. Мне как-то пожаловались новгородские библиотекари: «Вот вы в „Блокадной книге“ пишете, как ленинградцы поднимали упавших от голода, а у нас на днях сотрудница подвернула ногу, упала посреди площади — и все шли мимо, никто не остановился, не поднял ее. Как же это так?» Обида и даже упрек мне звучали в их словах.

И в самом деле, что же это с нами происходит? Как мы дошли до этого, как из нормальной отзывчивости перешли в равнодушие, в бездушие, и тоже это стало нормальным.

Не берусь назвать все причины, отчего утратилось чувство взаимопомощи, взаимобязанности, но думаю, что во многом это началось с разного рода социальной несправедливости, когда ложь, показуха, корысть действовали безнаказанно. Происходило это на глазах народа и губительнейшим образом действовало на духовное здоровье людей. Появилось и укоренилось безразличие к своей работе, потеря всяких принципов — «А почему мне нельзя?» Начинало процветать вот то самое, что мы называем теперь мягко, — бездуховность, равнодушие.

Естественно, это не могло не сказаться на взаимоотношениях людей внутри коллектива, требовательности друг к другу, на взаимопомощи, ложь проникала в семью — всё взаимосвязано, потому что мораль человека не состоит из изолированных правил жизни. И тот дух сплоченности, взаимовыручки, взаимозаботы, который сохранялся от войны, дух единства народа, — терялся. Начиная с малого, пропадал.

У моего знакомого заболела мать. Ее должны были оперировать. Он слышал о том, что надо бы врачу «дать». Человек он стеснительный, но беспокойство о матери пересилила стеснительность, и он, под видом того, что нужны будут какие-то лекарства, препараты, предложил врачу 25 рублей. На это врач развел руками и сказал: «Я таких денег не беру». — «А какие надо?» — «В десять раз больше.» Мой знакомый, работник среднего технического звена, человек небогатый, но поскольку речь шла о здоровье матери, раздобыл деньги. Что его поразило: когда он принес врачу деньги в конверте, тот преспокойно вынул их и пересчитал.



На этом история не заканчивается. После операции мать умерла. Врач сказал моему знакомому: «Я проверил, мать ваша умерла не в результате операции, у нее не выдержало сердце, поэтому деньги я оставляю себе». То есть он повел себя как бы порядочно: вот если бы женщина умерла в результате операции, деньги бы он вернул.

С полным сознанием своей правоты говорил это врач государственной клиники, представитель профессии гуманной, человеколюбивой — так, во всяком случае, мы привыкли думать о врачах.

Рассказываю об этом случае не потому, что он особый, а потому, что он не особый.

Женщина развелась с мужем и через суд потребовала алименты. Присудили. А ребенок находится у родителей мужа, и мать эта даже думать не думает взять ребенка и заботиться о нем. Но алименты исправно получает. К сожалению, все больше случаев я знаю, когда матери отказываются от своих детей. Прежде это были единичные случаи, поражавшие людей. Сейчас они не поражают.

К сожалению, наши обильные разговоры о нравственности часто носят слишком общий характер. А нравственность... она состоит из конкретных вещей — из определенных чувств, свойств, понятий.

Одно из таких чувств — чувство милосердия. Термин несколько устаревший, непопулярный сегодня и даже как будто отторгнутый нашей жизнью. Нечто свойственное лишь прежним временам. «Сестра милосердия», «брат милосердия» — даже словарь дает их как «устар.», то есть устаревшие понятия.

В Ленинграде, в районе Аптекарского острова, была улица Милосердия. Сочли это название отжившим, переименовали улицу в улицу Текстилей.

Изъять милосердие — значит лишить человека одного из важнейших действенных проявлений нравственности. Древнее это, необходимое чувство свойственно всему животному сообществу, птичьему: милость к поверженным и пострадавшим. Как же так получилось, что чувство это у нас заросло, заглохло, оказалось запущенным. Мне можно возразить, приведя немало примеров трогательной отзывчивости, соболезнования, истинного милосердия. Примеры, они есть, и тем не менее мы ощущаем, и давно уже, убыль милосердия в нашей жизни. Если бы можно было произвести социологическое измерение этого чувства...

Милосердие изничтожалось не случайно. Во времена раскулачивания, в тяжкие годы массовых репрессий никому не позволяли оказывать помощь семьям пострадавших, нельзя было приютить детей арестованных, сосланных. Людей заставляли высказывать одобрение смертным приговорам. Даже сочувствие невинно арестованным запрещалось. Чувства, подобные милосердию, расценивались как подозрительные, а то и преступные. Из года в год чувство это осуждали, вытравливали: оно-де аполитичное, не классовое, в эпоху борьбы мешает, разоружает... Его сделали запретным и для искусства. Милосердие действительно могло мешать беззаконию, жестокости, оно мешало сажать, оговаривать, нарушать законность, избивать, уничтожать. Тридцатые годы, сороковые — понятие это исчезло из нашего лексикона. Исчезло оно и из обихода, ушло как бы в подполье. «Милость падшим» оказывали таясь и рискуя...

Уверен, что человек рождается со способностью откликаться на чужую боль. Думаю, что это врожденное, данное нам вместе с инстинктами, с душой. Но если это чувство не употребляется, не упражняется, оно слабеет и атрофируется.

Упражняется ли милосердие в нашей жизни?.. Есть ли постоянная принуда для этого чувства? Толчок, призыв к нему?

Вспомнилось мне, как в детстве отец, когда проходили мимо нищих — а нищих было много в моем детстве: слепых, калек, просто просящих подаяние в поездах, на вокзалах, на рынках, — отец всегда давал медяк и говорил: поди подай. И я, преодолевая страх, — нищенство нередко выглядело довольно страшновато, — подавал. Иногда





преодолевал и свою жадность — хотелось приберечь деньги для себя, мы жили довольно бедно. Отец никогда не рассуждал: притворяются или не притворяются эти просители, в самом ли деле они калеки или нет. В это он не вникал: раз нищий — надо подать.

И как теперь я понимаю, это была практика милосердия, то необходимое упражнение в милосердии, без которого это чувство не может жить.

Хорошо, что нищих у нас сейчас нет. Но должны же быть какие-то другие обязательные формы проявления милосердия человеческого. Ведь в чрезвычайных, аварийных случаях оно же проявляется.

Например, недавняя трагедия в Чернобыле. Она всколыхнула народ и душу народную. Бедствие проявило у людей самые добрые, горячие чувства, люди вызывались помогать и помогали — деньгами, всем, чем могли, 567 миллионов рублей добровольно пожертвовали в фонд помощи пострадавшим от аварии в Чернобыле. Это огромная цифра, но главное — душевный отклик: люди сами охотно разбирали детей, принимали пострадавших в свои дома, делились всем. Это, конечно, проявление всенародного милосердия, чувство, которое всегда было свойственно нашему народу: как всегда помогали погорельцам, как помогали во время голода, неурожая...

Но Чернобыль? Землетрясения — это аварийные ситуации. Куда чаще милосердие и сочувствие требуются в нормальной повседневной жизни, от человека к человеку. Постоянная готовность помочь другому воспитывается, может быть, требованием, напоминанием о постоянно нуждающихся в этом...

Не ради упражнения, а потому что много есть в жизни нашей людей, которым необходимо простейшее чувство сострадания и милосердия.

После того падения пришлось побывать мне в больнице. Это была самая обыкновенная старая городская больница скорой помощи. Поскольку она старая, то уже не совсем обыкновенная, ибо находилась (и находится по сей день) в ужасном состоянии. Здание обветшало, полы в первом этаже шаткие, горячей воды нет, бегают крысы. Не буду называть эту больницу, потому что работают там прекрасные врачи-энтузиасты, которые именно в таких больницах и удерживаются. Не хочу, чтобы они пострадали, — как правило, достается им, а не начальству.

Ночами, от боли, мне не спалось, я бродил по коридору. Длинный этот коридор был заставлен койками и раскладушками с больными. Мест в палатах не хватало. Лежали вперемешку мужчины, женщины — постанывали, ворочались. Кто просил поднять, кто — пить. Санитарок — нет. Давно известная беда не только ленинградских больниц. Одна санитарка на все травматологическое отделение, на девяносто человек, хотя положено четыре. Присылают иногда на эту роль «пятнацатисуточных» — вот до чего не хватает людей. Хочу я, кому что подсобить. Где похрапывали, где стонали, ворочались, просили пить. Напоминало мне это фронтовой госпиталь после боя. С той лишь разницей, что санитарок не было. Но в эту ночь никаких подсобниц не было. Кого-то я поил, кого-то загипсованного поворачивал. Подозвала меня одна старая женщина. Попросила посидеть рядом. Пожаловалась, что страшно ей, заговорила про своих близких, про свою трудную жизнь. Взяла меня за руку. Замолчала. Я думал, заснула, а она умерла. Рука ее стала коченеть.

На фронте навиделся я всяких смертей. И то, что люди умирают в больницах, — вещь неизбежная. Но эта смерть поразила меня. Чужого, неважно, хоть кого-то подозвала эта женщина, томясь от одиночества перед лицом смерти. Невыносимое должно быть чувство. Наказание, и страшное, за что — неизвестно. Заботу о человеке, бесплатную медицину, гуманизм, коллективность жизни — как это все соединить с тем, что человек умирает в такой заброшенности? Не стыд ли это, не позор и вина наша всеобщая? У верующих существовало таинство соборования, отпущение грехов. Человек





причащался. Человек чувствует приближение конца. Ему легче, когда рядом кто-то, даже чужой, не говоря уж о своих. Чью-то руку держать в этот прощальный миг, последнее слово сказать кому-то, чтобы его слушали. Хотя бы той же сестре милосердия, брату милосердия, которые у нас «устар.». В такие минуты проверяется милосердие как уровень общественной нравственности.

Конечно, положение, до которого доведены наши обыкновенные городские больницы, когда медсестры и врачи вынуждены брать на себя функции санитарок, чтобы больные не оставались без ухода, — положение это тяжелейшее. Низки оклады санитарок, работа тяжелая, грязная — подать, перевернуть, обтереть, принести, унести. Ненормально, когда в той же больнице скорой помощи постоянная теснота (вместо 7 м<sup>2</sup> имеется лишь 4 м<sup>2</sup> на больного), не хватает медицинской техники. Но, кроме всего этого, санитарка стала профессией непрестижной, и прежде всего потому, что исчезло то материнское, святое, сострадательное, что делало уход за больными привилегией женской сердечности. Оклады окладами, но должен еще быть почет и уважение к делу милосердия. Санитарка, медсестра, может, сегодня наиболее человеколюбивое занятие, где царит и побеждает не образование, а душевные качества человека. Именно здесь требуется терпение, доброта, нежность. Медицине не хватает милосердия.

Молодежь охотно откликнулась на призывы, ехала на целину, на БАМ, на большие и малые стройки; никто не обращался — нужны те, кто сможет утешать страждущих, поднимать павших духом, исцелять уходом своим. Думаю, что найдутся, пойдут, шли же в госпитали, в больницы во время войны и совершали чудеса. То была война — возразят мне. Но человек страдает и сегодня, и ныне жизнь человеческая так же дорога и хрупка.

Недавно прочел я книгу «О всех созданиях — больших и малых». Автор Джеймс Хэрриот — английский сельский ветеринар. Профессия скромная, бесславная, соответственно, и пишут о ней редко. Книга эта о работе ветеринарного врача, как он ездит по йоркширским фермам, обслуживает скотину, птицу, заодно и собак и кошек. Лечение животных — занятие многотрудное, часто опасное, а уж грязи хватает в полутемных скотных дворах, свинарниках. Чего только не приходится терпеть ветеринару от своих бессловесных пациентов — удары копытом, укусы; чтобы установить диагноз, нужна, кроме опыта, знаний, еще любовь к животным — к этим коровам, лошадям, овцам, кошкам, ко всем живым тварям. Любовь рождает наблюдательность и взаимопонимание. Будничная невыигрышная работа, круглосуточные вызовы, ничего захватывающего, героического, и тем не менее повествование волнует волнением особым, от которого мы отвыкли при чтении художественной литературы. Каждый раз герою приходится искать решения — что случилось, как спасти, как помочь страдающему животному. Подкупает достоверность происходящего случая, подтрунивание над собой, однако главное в этой книге — горячее чувство сострадания к живому.

Какое наслаждение испытывает наш ветеринар, когда удается привести в чувство быка, пострадавшего от солнечного удара. Он не может примириться с видом поросят, гибнущих оттого, что мать не может их кормить. Мучается за старого мерина, у которого надо сломать зубы. Часами лежит на каменном полу рядом с коровой, помогая ей отелиться. Возится с псом, которого переломала машина. Пес ничейный, казалось бы, введи дозу снотворного, и все беды кончатся, но он проводит многочасовую сложную операцию, спасая эту жизнь. Другую старую псину кладет на операционный стол только потому, что представляет, какую невыносимую боль испытывает животное от заворота век.

Казалось бы, корова, овца, обреченные на убой, что уж так печалиться о них, — нет, для него они живые существа, которым он, врач, должен помочь, исцелить или хотя бы уменьшить их муки. Удачи и неудачи, все они пронизаны сочувствием, которое не



слабеет, а похоже, растет из года в год. В ветеринарию идут по любви к животным. Большие колхозные, совхозные стада как бы обезличили это чувство. И сострадать тут некогда. Но все же животное, хочешь не хочешь, требует сердечного отклика.

Автор ни к чему не призывает, не морализирует, и в этом, как всегда бывает, сила его безыскусного рассказа.

Читая, я не без стыда вспоминал стаи бродячих собак в пригородах и дачных местностях — результат нашей жестокости и эгоизма, и думал, что напрасно мы столь иронично относились к бытующим во всем мире обществам защиты животных. Думая о том, почему в Ленинграде многие годы никак не поощряется содержание собак, уж я не говорю о том, что не существует специальных собачьих кормов. Думалось о том, что развитие нравственного самосознания общества заставляет пересмотреть то, что когда-то с ходу отвергалось, какие-то формы общественной жизни, которые ныне можно использовать. Такова, например, проблема филантропии. Опыт нашей России, да и западный опыт может быть в этом смысле использован.

Принимать частное вспомоществование считается неприличным, чуть ли не унижительным. Образовались как бы условности нашей социалистической морали. Страдать от одиночества — неприлично; одиночество — состояние, не свойственное советскому человеку. Быть несчастным неприлично. Быть бедным — тоже. Между тем одиночество — бедствие не только старых, но и молодых, оно вовсе не случайность, не следствие плохого характера и т. п. Бедность? При этом пожимают плечами, бедных, мол, у нас нет, а если встречаются, то это недосмотр собеса, это государственная забота, которая освобождает нас от ответственности.

Между тем ясно, что милосердие — дело сугубо частное. Вот мы учредили фонд культуры — благородную и нужную организацию. Ведь это тоже филантропия по отношению к памятникам, сокровищам истории и культуры. Фонд культуры — это прекрасно, но почему с такой же деятельностью мы не можем обратиться к людям? Разве социалистическое общество — это не общество взаимочастия людей, взаимопомощи, взаимодобра, взаимопонимания? «Филантропия» переводится с греческого как человеколюбие. Надо, очевидно, создавать какие-то формы участия, внимания, помимо казенных. У нас есть скрытая бедность, застенчивая бедность. Есть бедность, которая и рада бы принять помощь, но мы сами стесняемся или не знаем о ней. Есть хронические больные, есть разные беды, требующие участия неформального, деликатного. Такое участие нужно и для тех, кто может помогать, хочет помогать, как-то применить нерастраченные силы своего добротворства.

В «Памятнике», где так выношено каждое слово, Пушкин итожит заслуги своей поэзии классической формулой:

И долго буду тем любезен я народу,  
Что чувства добрые я лирой пробуждал,  
Что в мой жестокий век восславил я Свободу  
И милость к падшим призывал.

Как бы ни трактовать последнюю строку, в любом случае она есть прямой призыв к милосердию. Можно проследить, как в поэзии и в прозе своей Пушкин настойчиво проводит эту тему. От «Пира Петра Великого», от «Капитанской дочки»... «Выстрела», «Станционного смотрителя» — милость к падшим становится для русской литературы нравственным требованием, одной из высших обязанностей писателя. В течение девятнадцатого века русские писатели призывают видеть в забитом, ничтожнейшем чиновнике четырнадцатого класса, станционном смотрителе человека с душой



благородной, достойной любви и уважения, человека, оскорбленного так несправедливо. Пушкинский завет милости к падшим пронизывает творчество Гоголя и Тургенева, Некрасова и Достоевского, Толстого и Короленко, Чехова и Лескова. Это не только прямой призыв к милосердию вроде «Муму», но это и обращение писателя к героям униженным и оскорбленным, сирым, убогим, бесконечно одиноким, несчастным, к падшим, как Сонечка Мармеладова, как Катюша Маслова. Живое чувство сострадания, вины, покаяния в творчестве больших и малых писателей России росло и ширилось, завоевав этим народное признание, авторитет.

Социальные преобразования нового строя, казалось, создадут всеобщее царство равенства, свободы и братства счастливых рядовых людей. Все оказалось сложнее. Литературе пришлось жить среди закрытых, запечатанных дверей, запретных тем, замкнутых сейфов.

Важнейшие этапы истории нашей жизни были неприкасаемы. Нельзя было касаться многих трагедий, имен, событий. Мало этого, социальная несправедливость, то, что люди терпели от власти имущих обиды, лишения, хамство, все это тоже тщательно процеживалось, ограничивалось.

Как ни странно, именно в военной литературе тема гуманности, милосердия прозвучала особенно сильно и страстно.

## Эрик-Эмманюэль Шмитт «Оскар и Розовая дама»

Посвящается Даниэль Дарье

Дорогой Бог!

Меня зовут Оскар. Мне десять лет, я умудрился поджечь нашего кота, собаку и весь дом (кажется, даже поджарил золотых рыбок), и я пишу тебе в первый раз, потому что прежде мне было совершенно некогда из-за школы.

Сразу предупреждаю: письменные упражнения наводят на меня ужас. По правде, надо, чтобы уж совсем приперло. Потому что писанина — это разные там гирлянды, помпончики, улыбочки, бантики и все такое. Писанина — это всего лишь завлекательные враки. Словом, взрослые штучки.

Могу доказать. Взять хоть начало моего письма: «Меня зовут Оскар. Мне десять лет, я умудрился поджечь нашего кота, собаку и весь дом (кажется, даже поджарил золотых рыбок), и я пишу тебе в первый раз, потому что прежде мне было совершенно некогда из-за школы». Я мог с таким же успехом написать так: «Меня прозвали Яичная Башка, на вид мне лет семь, я живу в больнице, потому что у меня рак, я никогда не



обращался к тебе ни с единым словом, потому что вообще не верю, что ты существуешь».

Только напиши я так, все обернулось бы скверно и у тебя вообще пропал бы ко мне всякий интерес. А надо-то как раз, чтобы ты заинтересовался мной.

Меня устроит, если у тебя найдется время кое в чем помочь мне.

Я сейчас все тебе растолкую.

Больница — это классное место, здесь полно взрослых, пребывающих в отличном настроении, говорят они довольно громко, здесь полно игрушек и розовых тетенек, которые просто жаждут поиграть с детьми, к тому же здесь всегда под рукой масса приятелей вроде Бекона, Эйнштейна или Попкорна, короче, больница — это кайф, если ты приятный больной.

Но я уже не приятный больной. После того как мне сделали пересадку костного мозга, я чувствую, что я им больше не приятен. Нынче утром, когда доктор Дюссельдорф осматривал меня, я, похоже, разочаровал его. Он, не говоря ни слова, глядел на меня так, будто я совершил какую-то ошибку. А ведь я старался во время операции — вел себя благоразумно, позволил усыпить себя, даже не стонал, хоть было больно, послушно принимал всякие лекарства. В иные дни мне хотелось просто наорать на него, сказать ему, что, может быть, это он, доктор Дюссельдорф, со своими угольными бровищами, профукал мою операцию. Но вид у него при этом такой несчастный, что брань застревает у меня в глотке. Чем более сдержанно этот доктор Дюссельдорф со своим огорченным взглядом ведет себя, тем более виноватым я себя чувствую. Я понял, что сделался скверным больным, больным, который мешает верить, что медицина — замечательная штука.

Эти врачебные мысли — они, наверное, заразные. Теперь все на нашем этаже: медсестры, практиканты, уборщицы — смотрят на меня точно так же, как он. Когда я в хорошем настроении, у них грустные физиономии; когда я отпускаю шуточки, они сияют, рассмеются. По правде говоря, они смеются громче, чем прежде.

Не переменилась только Бабушка Роза. Но, по-моему, она слишком стара, чтобы меняться. К тому же это ведь Бабушка Роза. Ах да, Бог, я не собираюсь тебя с ней знакомить; судя по тому, что именно она посоветовала написать тебе, это твоя добрая приятельница. Загвоздка в том, что один я называю ее Бабушка Роза. Тебе придется поднатужиться, чтобы представить себе, о ком я говорю: среди всех тетенок в розовых халатах, что приходят присматривать за больными детьми, она самая старая.

— Бабушка Роза, а сколько вам лет?

— Оскар, малыш, ты что, можешь запомнить тринадцатизначное число?

— Заливаете!

— Ничего подобного. Просто нельзя, чтобы здесь узнали, сколько мне лет, иначе я вылечу отсюда и мы больше не увидимся.

— Почему?

— Я устроилась сюда контрабандой. Для сиделок установлен предельный возраст. А я уже здорово перебрала свой срок.

— Так вы просрочены?

— Ага.

— Как йогурт?

— Цыц!

— О'кей, буду нем как рыба.

Это было чертовски храбро с ее стороны доверить мне свой секрет. Но она сделала верную ставку. Я буду глух и нем, хоть удивительно, что никто ничего не заподозрил. У нее столько морщинок, расходящихся вокруг глаз, как солнечные лучики.



В другой раз я узнал еще один ее секрет, и уж тут-то ты, Бог, точно сразу должен ее узнать.

Мы прогуливались в больничном парке, и она угодила ногой в грязь:

— Вот говно!

— Бабушка Роза, да вы ругаетесь по-черному!

— Слушай, карапуз, отвали, как хочу, так и говорю.

— Ох, Бабушка Роза!

— И давай пошевеливайся. Мы как-никак гуляем, а не устраиваем черепаши бег!

Мы присели на скамейку, достали карамельки, и тут я спросил ее:

— А чего это вы так выражаетесь?

— Ну, это профессиональная болезнь, Оскар. Если бы я использовала только деликатные выражения, то давно бы прогорела с моим ремеслом.

— А чем вы занимались?

— Ни за что не поверишь...

— Клянусь, поверю.

— Я занималась борьбой, кэччем, выступала на арене.

— Не верю!

— Точно выступала! Меня прозвали Душительницей из Лангедока.

С тех пор, стоило мне впасть в угрюмое настроение, Бабушка Роза, убедившись, что нас никто не слышит, рассказывала мне о своих знаменитых схватках: о поединке Душительницы из Лангедока с Лимузенской Мясорубкой, о том, как она целых двадцать лет сражалась с Дьяволицей Сенклер, у которой были не груди, а ядра, и еще о поединке на кубок мира против Уллы-Уллы по прозвищу Овчарка Бухенвальда, ту никто не мог уложить на лопатки, даже Стальная Задница, с которой Бабушка Роза брала пример, когда занималась борьбой.

Все эти схватки виделись мне как наяву, я воображал свою приятельницу на ринге: маленькая старушка в развевающемся розовом халате задает взбучку людоедкам в трико. Мне казалось, что все это происходит со мной. Я становился сильнее, я мстил своим недругам.

Ну вот, Бог, если, несмотря на все эти приметы, ты все еще не припомнил Бабушку Розу, тебе следует сказать «стоп» и подать в отставку. Я, кажется, ясно выразился?

Вернусь к своим делам.

Короче, моя операция сильно их разочаровала. Химиотерапия тоже, но не так сильно, поскольку тогда еще оставалась надежда на пересадку мозга. Теперь мне кажется, что врачи не знают, что еще предложить, прямо жалко их. Доктор Дюссельдорф — мама находит его весьма привлекательным, а я нахожу, что у него с бровями перебор, — так вот, у него теперь такое огорченное лицо, прямо Дед Мороз, у которого не хватило на всех подарков.

Словом, атмосфера ухудшилась. Я поговорил об этом со своим приятелем Беконем. На самом деле его зовут не Бекон, а Ив, но мы прозвали его Бекон, поскольку он здорово пригорел.

— Бекон, у меня такое впечатление, что врачи совсем меня разлюбили, я на них плохо действую.

— Еще чего, Яичная Башка. Врачи просто так не сдадутся. У них всегда в запасе куча идей насчет того, что с тобой еще можно проделать. Я тут подсчитал, что они пообещали мне не меньше шести операций.

— Наверное, ты их вдохновляешь.

— Надо думать.

— Но почему бы им не сказать мне просто, что я умру.





И тут Бекон словно оглох, как и все прочие здесь, в больнице. Если ты произносишь здесь слово «смерть», никто этого не слышит. Можешь быть уверен, оно улетает в какую-то дыру, потому что они сразу начинают говорить о другом. Я на всех это проверил. Кроме Бабушки Розы.

Итак, сегодня утром я решил испытать и ее:

— Бабушка Роза, похоже, никто не намерен сообщить мне, что я умираю.

Она посмотрела на меня. Что если она отреагирует как все? Умоляю, Душительница из Лангедока, не сдавайся, не глохни!

— Оскар, а почему ты хочешь, чтобы тебе сказали это, если тебе и так это известно?

Уф-ф! Она услышала.

— Мне кажется, Бабушка Роза, что люди изобрели какую-то иную больницу, чем на самом деле. Они ведут себя так, будто в больницу ложатся лишь затем, чтобы выздороветь. Но ведь сюда приходят и умирать.

— Ты прав, Оскар. Думаю, что ту же самую ошибку совершают и по отношению к жизни. Мы забываем, что жизнь — она тонкая, хрупкая, эфемерная. Мы делаем все, чтобы казаться бессмертными.

— С моей операцией ничего не вышло, ведь так, Бабушка Роза?

Бабушка Роза не ответила. Это был ее способ говорить «да». Уверившись, что я ее понял, она склонилась ко мне и умоляюще произнесла:

— Разумеется, я тебе ничего не говорила. Поклянись!

— Клянусь.

Мы ненадолго замолчали, чтобы свыкнуться с новыми соображениями.

— Оскар, — внезапно сказала она, — а что если написать Богу?

— О нет, только не вы, Бабушка Роза!

— Что? Почему не я?

— Не вы! Я-то думал, вы не можете обманывать.

— Но я тебя не обманываю.

— Тогда почему вы заговорили о Боге? Хватит, я уже слышал байку про Деда Мороза. Одного раза достаточно!

— Но Оскар, между Богом и Дедом Морозом нет ничего общего.

— Нет, есть. Это одно и то же. Акционерное общество «Запудривание мозгов и компания»!

— Ты воображаешь себе, что я, проведя тридцать лет на арене, из ста шестидесяти пяти боев выиграв сто шестьдесят, из них сорок три нокаутом, я, Душительница из Лангедока, могу хоть на секунду поверить в Деда Мороза?

— Нет.

— Так вот, в Деда Мороза я не верю, я верю в Бога. Когда так говорят, это точно другое дело.

— А зачем мне писать Богу? — спросил я.

— Тебе будет не так одиноко.

— Не так одиноко с кем-то, кого не существует?

— Сделай, чтобы он существовал. Она склонилась над моим изголовьем:

— Стоит тебе поверить в него, и он с каждым разом будет становиться чуть более реальным. Прояви упорство, и он действительно будет существовать для тебя. И тогда это принесет тебе благо.

— Что же мне написать ему?

— Поверь ему свои мысли. Невысказанные мысли навязчивы, они тяготят, печалят тебя, лишают подвижности, не дают прорезаться новым мыслям. Если их не высказывать, то мозг превратится в вонючую свалку старых мыслей.

— Ну допустим.



— И потом, учти, Оскар, обращаясь к Богу, можно каждый раз просить лишь что-нибудь одно. Запомни, только одно!

— Бабушка Роза, да он просто слабак, этот ваш Бог. Аладдин с его джинном и лампой и то мог загадать целых три желания.

— Но разве не лучше одно желание в день, чем три за всю жизнь?

— О'кей. Итак, я могу попросить у него что угодно? Игрушки, конфеты, машину...

— Нет, Оскар. Не путай Бога с Дедом Морозом. Ты можешь просить у него только о духовных вещах.

— Например?

— Например, о храбрости, терпении, просветлении.

— Ага, понятно.

— Кроме того, Оскар, ты можешь подсказать ему, чтобы он проявил милосердие к другим.

— Ну уж фигурки, Бабушка Роза, всего одно желание в день — я уж точно прибегу его для себя!

Ну вот, Бог, это мое первое письмо к тебе. Я немножко рассказал, какую жизнь веду здесь, в больнице, где меня рассматривают как помеху медицине. Теперь прошу тебя, внеси ясность: удастся ли мне выздороветь? Ответь: да или нет. Это, вроде, не слишком сложно. Да или нет. Ненужное зачеркнуть.

До завтра. Целую,  
Оскар

P. S. У меня нет твоего адреса, как же отправить тебе это письмо?

\* \* \*

Дорогой Бог!

Браво! Ну ты силен. Не успел я отправить тебе письмо, как уже получил ответ. Как это у тебя выходит?

Сегодня утром, когда я играл в холле в шахматы с Эйнштейном, Попкорн заглянул туда, чтобы предупредить меня:

— Здесь твои родители.

— Мои родители? Не может быть. Они приезжают только по воскресеньям.

— Я видел их машину, красный джип с белым верхом.

— Да быть не может.

Пожав плечами, я вернулся к шахматной доске. Но не мог сосредоточиться, к тому же Эйнштейн прихватил мои фигуры, и это меня еще сильнее взвинтило. Его зовут Эйнштейн вовсе не потому, что он умнее других, просто у него голова в два раза больше. Сдается, что там, внутри, вода. Жалко, что это стряслось именно с мозгом, а то Эйнштейн мог бы такого натворить...

Увидев, что дело идет к развязке, я прекратил игру и потащился за Попкорном в палату, выходящую окнами на автостоянку. Он был прав: это точно прибыли мои.

Надо тебе сказать, Бог, что наш дом отсюда далеко. Я не понимал этого, когда жил там, но теперь, когда я там больше не живу, мне кажется, что это и вправду далеко. К тому же родители могут навещать меня лишь раз в неделю, по воскресеньям, так как по воскресеньям они не работают, ну а я тем более.

— Ну, убедился, кто прав? — сказал Попкорн. — Чего ты мне дашь за то, что я тебя предупредил?

— У меня есть шоколад с орехами.

— А клубники больше нет?



— Нет.

— О'кей, тогда сгодится и шоколадка.

Конечно, я не имел права подкармливать Попкорна, его положили в больницу как раз затем, чтобы он похудел. В девять лет — девяносто восемь кило при габаритах метр десять на метр десять. Единственное, что он мог на себя натянуть, это был американский полосатый свитер-поло. Притом от этих полосок у всех начиналась морская болезнь. Честно говоря, ни я и никто из моих друзей не верим, что ему когда-нибудь удастся похудеть, он вечно ходит такой голодный, что нам становится его жалко и мы подсовываем ему недоеденные куски. Что такое жалкая шоколадка по сравнению с такой массой жира! Конечно, может, мы и не правы, но ведь даже сиделки прекратили начинать его слабительными свечками.

Я вернулся в свою палату, ожидая, что родители вот-вот заявятся. Поначалу я, запыхавшись, не понял, сколько прошло времени, потом сообразил, что они уже двадцать раз добрались бы до меня.

Вдруг до меня дошло, где они могут быть. Я выскользнул в коридор, никто меня не заметил; спустился по лестнице, потом в полутьме доковылял до кабинета доктора Дюссельдорфа.

Точно! Они были там. Из-за двери доносились их голоса. Я совсем выбился из сил, поэтому пришлось выждать несколько секунд, чтобы сердце плюхнулось на место, и вот тут-то все и стряслось. Я услышал то, чего не должен был слышать. Мама рыдала, доктор Дюссельдорф повторял: «Мы уже все испробовали, поверьте, мы уже все испробовали», и мой отец отвечал севшим голосом: «Я в этом уверен, доктор, я в этом уверен».

Я застыл на месте, приклеившись ухом к железной двери. Не знаю, что было холоднее — металл или я сам.

Потом доктор Дюссельдорф сказал:

— Вы хотите навестить его?

— У меня просто не хватит духу, — ответила моя мать.

— Нельзя, чтобы он увидел, в каком мы состоянии, — добавил отец.

И вот тут я понял, что мои родители просто трусы. Нет, хуже: трусы, которые и меня считают трусом!

Из кабинета донесся шум отодвигаемых стульев, я догадался, что они сейчас появятся на пороге, и юркнул в первую попавшуюся дверь.

Так я очутился в чулане, где хранили хозяйственную утварь, там, взаперти, я и провел остаток утра, поскольку, как тебе известно, эти шкафчики можно открыть только снаружи, а не изнутри. Наверное, люди опасаются, что ночью все эти швабры, ведра и тряпки могут сбежать!

Во всяком случае сидеть там, в темноте, было совсем нетрудно, поскольку мне больше не хотелось никого видеть, а после шока от всего услышанного руки и ноги будто отнялись.

Где-то в полдень на верхнем этаже начался изрядный переполох. Я услышал шаги, больницу прочесывали цепью. Потом повсюду принялись выкрикивать мое имя:

— Оскар! Оскар!

Было приятно слышать, что тебя зовут, и не отвечать. Мне захотелось одурачить всех на свете.

Кажется, я немного вздремнул, потом различил шарканье башмаков уборщицы мадам Н'да. Она распахнула дверь, и тут мы оба и вправду напугались и завопили что есть мочи: она — потому что не ожидала наткнуться здесь на меня, а я — потому что забыл, что она такая черная. Да и вопила она неслабо.

Потом была заваруха. Сбежались все: доктор Дюссельдорф, старшая медсестра, дежурные сестры, обслуживающий персонал. Я-то ожидал, что они разнесут меня в пух и



прах, а они чуть не хлюпали носами, и я сообразил, как можно воспользоваться этой ситуацией.

- Хочу видеть Бабушку Розу.
- Но где ты был, Оскар? Как ты себя чувствуешь?
- Хочу видеть Бабушку Розу.
- Как ты очутился в этом чулане? Ты за кем-то следил? Ты слышал что-нибудь?
- Хочу видеть Бабушку Розу.
- Выпей воды.
- Нет. Хочу видеть Бабушку Розу.
- Выпей глоточек...
- Нет. Хочу видеть Бабушку Розу.

Гранит. Скала. Бетонная дамба. Все их расспросы ни к чему не привели. Я вообще не слушал, что они мне говорили. Я хотел видеть Бабушку Розу.

Доктор Дюссельдорф, очень недовольный тем, что его коллеги никак не могут повлиять на меня, наконец дрогнул:

- Разыщите эту даму!

Тут я согласился передохнуть и ненадолго прилег в своей палате.

Когда я проснулся, Бабушка Роза была здесь. Она улыбалась:

— Браво, Оскар, твоя атака удалась. Ты им здорово наподдал. Но в результате теперь они завидуют мне.

- Плевать.
- Это славные люди, Оскар. Очень славные.
- А мне на это плевать.
- Что-то случилось?

— Доктор Дюссельдорф сказал моим родителям, что я скоро помру, и они удрали, поджав хвост. Ненавижу их.

Я ей подробно рассказал обо всем, ну как тебе, Бог, в этом письме.

— М-м-м, — протянула Бабушка Роза, — это напомнило мне мой поединок в Бетюне с Сарой Ап-и-Шмяк, атлеткой, вечно намазывавшейся маслом. Эта верткая как угорь трюкачка боролась почти обнаженной, да еще маслом натиралась, так и выскальзывала из рук во время захвата. Она выходила на ринг только в Бетюне и каждый год выигрывала там кубок. Но мне так хотелось заполучить этот бетюнский кубок!

- И что же вы сделали, Бабушка Роза?

— Пока она поднималась на ринг, мои друзья обсыпали ее мукой. Масло плюс мука — отличная панировка. В два притопа три прихлопа я отправила на ковер эту Сару Ап-и-Шмяк. После этой схватки ее называли не Угрем Ринга, а Панированной Треской.

- Бабушка Роза, простите, но я не вижу тут никакой связи.

— А я ее прекрасно вижу. Всегда есть выход, Оскар, всегда можно что-то придумать, вроде этого трюка с пакетом муки. Знаешь что, тебе нужно написать Богу. Он все же помощнее, чем я.

- Даже на ринге?

— Да. Даже на ринге. У Бога все схвачено. Попробуй, малыш. Что тебя больше всего мучает?

- Ненавижу, просто ненавижу своих родителей!
- Тогда ненавидь их как можно сильнее.
- Вы мне такое говорите, Бабушка Роза?



— Да. Ненавидь их как можно сильнее. Это будет как кость. А когда ты ее догрызешь, то увидишь, что оно того не стоило. Расскажи все это Богу в своем письме, попроси его навестить тебя.

— Он что, может двигаться?

— На свой лад. Нечасто. Скорее даже редко.

— Почему? Он тоже болен, как я?

Бабушка Роза вздохнула, похоже, ей не хотелось признать, что и ты, Бог, чувствуешь себя неважно.

— Оскар, разве твои родители никогда не говорили тебе о Боге?

— Да бросьте. Мои родители просто болваны.

— Ну да. Но разве они никогда не говорили с тобой о Боге?

— Говорили. Только один раз. Сказали, что не верят в него. Они верят лишь в Деда Мороза.

— Малыш, они что, настолько глупы?

— Вы представить себе не можете! Однажды я вернулся из школы и сказал им, что хватит выставять меня идиотом, что я, как и все мои приятели, знаю, что Деда Мороза нет и не было. Они выглядели так, будто с Луны свалились. Я был чертовски взбешен: надо же было разыграть из себя такого кретина на школьном дворе, и они тут же поклялись, что вовсе не хотели меня обманывать, что искренне верили, что Дед Мороз существует. Они были страшно разочарованы, ну да, страшно разочарованы, узнав, что это неправда! Говорю вам, Бабушка Роза, дважды придурки!

— Так значит, они не верят в Бога?

— Нет.

— И это тебя не зацепило?

— Если бы я интересовался, о чем думают всякие болваны, у меня не хватило бы времени на то, о чем думают умные люди.

— Ты прав. Но тот факт, что твои родители, как ты говоришь, болваны...

— Ну да. Уж точно болваны, Бабушка Роза!

— Так вот, пусть твои родители заблуждаются и не верят в Бога, но почему тебе-то самому в него не поверить и не попросить его навестить тебя?

— Ладно. Но вы ведь не говорили, что он прикован к постели?

— Нет. Но у него есть свой особый способ навещать людей. Он навестит тебя в мыслях. В твоём сознании.

Это мне понравилось. Это сильно. Бабушка Роза добавила:

— Вот увидишь, его посещения приносят благо.

— О'кей. Я поговорю с ним об этом. А сейчас, если мне что-то и приносит благо, так это ваши посещения.

Бабушка Роза улыбнулась и с почти смущенным видом склонилась, чтобы поцеловать меня в щеку. Но не осмелилась. Она взглядом попросила позволения.

— Валяйте. Обнимите меня. Другим я об этом не скажу. Чтобы не уронить вашу борцовскую репутацию.

Ее губы прикоснулись к моей щеке, я ощутил тепло и легкое покалывание, пахло пудрой и мылом.

— Когда вы опять придете ко мне?

— Я имею право приходить не чаще двух раз в неделю.

— Это невозможно, Бабушка Роза! Ждать три долгих дня!

— Таково правило.

— Кто выдумал это правило?

— Доктор Дюссельдорф.





— Этот доктор Дюссельдорф теперь при виде меня готов напрудить в штаны. Спросите у него разрешения, Бабушка Роза. Я не шучу.

Она нерешительно поглядела на меня.

— Я не шучу. Если вы не будете навещать меня каждый день, я не стану писать Богу.

— Ладно, я попробую.

Бабушка Роза вышла из палаты, и я расплакался.

Я не сознавал прежде, что нуждаюсь в поддержке. Не сознавал, насколько серьезно я болен. При мысли, что мне, возможно, больше не удастся увидеть Бабушку Розу, я вдруг понял все, и у меня из глаз покатились слезы, обжигавшие щеки.

К счастью, она вернулась не сразу.

— Все устроилось, у меня есть разрешение. В течение двенадцати дней я могу навещать тебя каждый день.

— Меня, и никого, кроме меня?

— Тебя, и никого, кроме тебя, Оскар. Двенадцать дней.

Тут уж я не знаю, что меня так разобрало, но слезы потекли вновь. Хотя мне было известно, что мальчики не должны плакать, тем более я с моей яичной башкой — ни мальчишка, ни девчонка, так, скорее марсианин. Ничего не поделаешь. Просто не мог удержаться.

— Двенадцать дней? Все так уж плохо, да, Бабушка Роза?

Ее это тоже тронуло до слез. Она колебалась. Бывшая циркачка не позволяла распускаться бывшей девчонке. Было забавно наблюдать за этой борьбой, и я немного отвлёкся от сути дела.

— Какой сегодня день, Оскар?

— Что за вопрос! Видите мой календарь? Сегодня девятнадцатое декабря.

— Знаешь, Оскар, в наших краях есть легенда о том, что в течение двенадцати дней уходящего года можно угадать погоду на следующие двенадцать месяцев. Достаточно каждый день наблюдать за погодой, чтобы получить в миниатюре целый год. Девятнадцатое декабря представляет январь, двадцатое — февраль, и так далее, до тридцать первого декабря, которое предвещает следующий декабрь.

— Это правда?

— Это легенда. Легенда о двенадцати волшебных днях. Мне бы хотелось, чтобы мы, мы с тобой, сыграли в это. Главным образом ты. Начиная с сегодняшнего дня смотри на каждый свой день так, будто он равен десяти годам.

— Десяти годам?

— Да. Один день — это десять лет.

— Тогда через двенадцать дней мне исполнится сто тридцать!

— Да. Теперь ты понял?

Бабушка Роза обняла меня — чувствую, она явно вошла во вкус, — и потом удалилась.

Ну так вот, Бон я родился сегодня утром, ну, это я довольно слабо помню; к полудню все стало яснее; когда мне стукнуло пять лет, я вошел в сознание, но это принесло не слишком добрые вести; сегодня вечером мне исполнилось десять, это возраст разума. Воспользуюсь этим, чтобы попросить тебя об одной вещи: если соберешься сообщить мне что-нибудь, как вот нынче, в полдень, все же делай это помягче. Спасибо.

До завтра. Целую,

Оскар



Р. С. Прошу тебя еще об одной штуке. Знаю, что только что уже использовал свое право, но это не совсем желание, скорее совет.

Я согласен на короткую встречу. Воображаемую, а вовсе не наяву. Это неслабо. Мне бы очень хотелось, чтобы ты навестил меня. Я открыт с восьми утра до девяти вечера. В остальное время я сплю. Иногда я даже днем могу ненадолго вздремнуть из-за лекарств. Если застанешь меня в этом состоянии, буди безо всяких колебаний. Только идиот мог бы упустить такую минуту!

\* \* \*

Дорогой Бог!

Сегодня я переживаю подростковый период, и между прочим, не в одиночку. Вот история! Выдалась масса хлопот с приятелями, родителями, и все из-за девчонок. Уже вечер, и я не слишком печалюсь по поводу того, что мне исполнилось двадцать, потому что могу сказать себе: уф, худшее позади. Вот уж спасибо за это половое созревание! Один раз еще можно пережить, но снова — ни за что!

Прежде всего, Бог, доведу до твоего сведения: ты не явился. Я сегодня почти не спал из-за возрастных проблем, значит, не мог прошляпить твой приход. И потом, я тебе уже говорил: если я вздремнул, растолкай меня.

Когда я проснулся, Бабушка Роза была уже здесь. За завтраком она рассказывала мне о своих схватках с Королевской Титькой из Бельгии, которая поглощала по три кило сырого мяса в день, заливая это бочонком пива; похоже, что вся сила этой Королевской Титьки заключалась в выдохе: такой запашок из-за перебродившего пива с мясом — ее соперники просто штабелями валились на ковер. Чтобы победить ее, Бабушке Розе пришлось изобрести новую тактику: надеть специальный капюшон с отверстиями для глаз, пропитав его лавандой, и назваться Ужасом Карпентра. Борьба, как она говорит, требует, чтобы в мозгу тоже были мускулы.

— Кто тебе нравится больше всех, Оскар?

— Здесь, в больнице?

— Да.

— Бекон, Эйнштейн, Попкорн.

— А из девочек?

Тут я привял. Отвечать не хотелось. Но Бабушка Роза ждала, а перед спортсменкой мирового класса не станешь долго ломать комедию.

— Пегги Блю.

Пегги Блю, голубая девочка. Она лежит в предпоследней палате. Почти ничего не говорит, только смущенно улыбается. Будто фея, которая вдруг очутилась в больнице. У нее какая-то мудреная болезнь — голубая, что-то там с кровью, которая должна попадать в легкие, но не попадает, и кожа внезапно синеет. Она ждет операции, чтобы сделаться розовой. Жалко, если это произойдет, мне кажется, в голубом Пегги Блю тоже очень красивая. Вокруг нее столько света и тишины... Стоит подойти, и будто попадаешь под своды церкви.

— А ты говорил ей об этом?

— Не могу же я ни с того ни с сего нарисоваться перед ней и заявить: «Пегги Блю, я тебя люблю».

— Вот именно. Почему ты этого не сделал?

— Я даже не знаю, знает ли она, что я вообще существую.

— Тем более.

— Да вы посмотрите на мою голову? Разве что она обожает инопланетян, но в этом я как раз не уверен.



— А мне ты кажешься очень красивым, Оскар.

После этого замечания Бабушки Розы наша беседа застопорилась. Конечно, приятно слышать такое, даже волосы на руках дыбом встают, но непонятно, что тут ответить.

— Бабушка Роза, но ведь хочется, чтобы ей нравилось не только тело.

— Слушай, что ты чувствуешь, когда видишь ее?

— Мне хочется защитить ее от призраков.

— Как? Здесь что, появляются призраки?

— Ага, притом каждую ночь. Они нас будят, уж не знаю зачем. Это больно, потому что они щиплются. Становится страшно, ведь их не видно. А потом никак не заснуть.

— А тебе эти призраки часто являются?

— Нет. Сплю я крепко. Но по ночам я иногда слышу, как кричит Пегги Блю. Мне так хотелось бы защитить ее.

— Скажи ей об этом.

— Я по любому не могу это сделать, потому что ночью мы не имеем права выходить из палаты. Такой режим.

— А разве призраки соблюдают режим? Нет, разумеется, нет. Будь похитрее: если они услышат, как ты объявил Пегги Блю, что будешь защищать ее, то ночью они не посмеют явиться.

— Н-да...

— Сколько тебе лет, Оскар?

— Не знаю. Который сейчас час?

— Десять часов. Тебе скоро стукнет пятнадцать лет. Тебе не кажется, что пора уже осмелиться и проявить свои чувства?

Ровно в десять тридцать я принял решение и направился к ее палате. Дверь была открыта.

— Привет, Пегги, я — Оскар.

Она сидела на своей кровати — ни дать ни взять Белоснежка в ожидании принца, в то время как дуралеи гномы считают, что она померла. Белоснежка — как те заснеженные фотографии, где снег голубой, а не белый.

Она повернулась ко мне, и тут я задал себе вопрос: кем я ей кажусь — принцем или гномом? Лично я поставил бы на гнома из-за моей яичной башки. Но Пегги Блю ничего не сказала. Самое замечательное то, что она всегда молчит, и поэтому все остается таинственным.

— Я пришел сказать тебе, что если хочешь, то сегодня и все следующие ночи я буду охранять вход в твою палату, чтобы призраки сюда не проникли.

Она посмотрела на меня, взмахнула ресницами, и у меня возникло ощущение замедленной съемки: воздух стал воздушнее, тишина тише, я будто шел по воде, и все менялось по мере того, как я приближался к ее постели, освещенной невесть откуда падавшим светом.

— Эй, постой, Яичная Башка: Пегги буду охранять я!

Попкорн вытянулся в дверном проеме, точнее, заткнул собой этот проем. Я задрожал. Если охранять будет он, то тут уж наверняка никакому призраку не просочиться.

Попкорн бросил взгляд на Пегги:

— Эй, Пегги! Разве мы с тобой не друзья?

Пегги уставилась в потолок. Попкорн воспринял это как знак согласия и потянул меня из палаты:

— Если тебе нужна девчонка, бери Сандрину. С Пегги уже все схвачено.

— По какому праву?



— По тому праву, что я в больнице куда давнее тебя. Не устраивает, значит, будем драться.

— На самом деле меня это отлично устраивает.

На меня накатила усталость, и я пошел передохнуть в зал для игр. А Сандрина уже тут как тут. У нее лейкемия, как и у меня, но ей лечение, похоже, пошло на пользу. Ее прозвали Китайкой, потому что она носит черный парик. Прямые блестящие волосы, а также челка придают ей сходство с китайкой. Она посмотрела на меня и выдула пузырь жевательной резинки.

— Хочешь, можешь поцеловать меня.

— Зачем? Тебе жвачки недостаточно?

— Ты даже на это неспособен, олух. Уверена, ты в жизни не целовался.

— Ну и насмешила. В свои пятнадцать, могу тебя заверить, я уже тысячу раз это делал.

— Тебе пятнадцать лет? — удивленно спросила она. Я взглянул на часы:

— Да. Уже стукнуло пятнадцать.

— Всегда мечтала, чтобы меня поцеловал пятнадцатилетний.

— Это уж точно заманчиво, — ответил я.

И тут она сделала невозможную гримасу, выпятила губы, будто вантуз, присасывающийся к стеклу, и до меня дошло, что она жаждет поцелуя.

Оборачиваюсь и вижу, что там народ уже скопился поглазеть. Похоже, мне не отвертеться. Что ж, надо быть мужчиной. Пора.

Подхожу к ней, целую. Она сцепила руки у меня за спиной, не вырваться, и вообще мокро, и вдруг без предупреждения эта Сандрина сбегивает мне свою жвачку. От удивления я ее целиком проглотил и рассвирепел.

В этот самый миг мне на плечо легла чья-то рука. Да уж, несчастье никогда не приходит в одиночку: явились родители. Я совсем забыл, что нынче воскресенье.

— Оскар, познакомь нас со своей подружкой.

— Это не моя подружка.

— Все же познакомь нас.

— Сандрина. Мои родители. Сандрина.

— Очень приятно с вами познакомиться, — пропела Китайка со сладкой улыбкой. Так и придушил бы ее.

— Оскар, хочешь, чтобы Сандрина пошла с нами в твою палату?

— Нет. Сандрина останется здесь. Оказавшись в постели, я почувствовал усталость и немного вздремнул. Все равно я не хотел с ними разговаривать.

Когда я проснулся, оказалось, что они натащили мне подарков. С тех пор как я застрял в этой больнице, родителям стало трудно разговаривать со мной, вот они и тащат мне разные подарки, и мы портим день чтением всяких правил игры и способов употребления. Мой отец бесстрашно набрасывается на инструкции, будь они даже на турецком или японском, его не запугаешь, хлебом не корми, дай повозиться со схемой. Если надо убить воскресенье, то тут он просто чемпион мира.

Сегодня он принес мне СД-плеер. Тут уж я не мог привередничать, даже если бы возникло такое желание.

— А вчера вы не приезжали?

— Вчера? Почему ты спрашиваешь? Мы же можем только по воскресеньям. С чего ты это взял?

— Кто-то видел вашу машину на стоянке.

— Ну конечно, на всем белом свете есть один-единственный красный джип. Они же все на одно лицо.

— Ага. В отличие от родителей. А жаль.



Этим я просто пригвоздил их к месту. Тут я взял плеер и прямо у них на глазах дважды, без остановки, прослушал диск со «Щелкунчиком». Им пришлось провести два часа без единого слова. Так им и надо.

— Тебе нравится?

— Угу. Меня тянет ко сну.

До них дошло, что пора уходить. Им было страшно не по себе. Они все переминались с ноги на ногу. Я чувствовал, что они хотят мне что-то сказать, но слова не идут с языка. Было приятно видеть их терзания, пришел их черед.

Потом моя мать придвинулась ко мне, сжала меня крепко, слишком крепко, и сказала дрогнувшим голосом:

— Я тебя люблю, мой маленький Оскар, я так тебя люблю!

Я хотел было воспротивиться, но в последний миг не стал отстраняться, мне вспомнились прежние времена с их незамысловатыми ласками, времена, когда восклицание «я тебя люблю, Оскар!» звучало совсем безмятежно.

После этого мне опять пришлось вздремнуть.

Бабушка Роза — чемпион по пробуждению. В тот миг, когда я открываю глаза, она всегда тут как тут. И в этот миг у нее всегда наготове улыбка.

— Итак, что твои родители?

— Результат ноль, как обычно. Но они подарили мне запись «Щелкунчика».

— «Щелкунчика»? Что ж, это занятно. У меня была подружка с таким прозвищем. Потрясающая чемпионка. Сжав ноги, она могла переломить шею противнику. А с Пегги Блю ты виделся?

— Не упоминайте о ней. Она невеста Попкорна.

— Это она тебе сказала?

— Нет, он.

— Заливает!

— Не думаю. Я уверен, что он нравится ей куда больше, чем я. Он сильный, а это внушает доверие.

— Говорю тебе, заливает! Я выгляжу как мышка, но на ринге мне доводилось побеждать спортсменов размером с кита или гиппопотама. Взять хоть Сливовую Запеканку — ирландка, вес сто пятьдесят кило, это натошак, в трико, до пива «Гиннесс», плечи как мои ляжки, бицепсы как окорока, а ляжки так вообще не обхватишь. Никакой талии — не за что ухватить. Непобедимая!

— И что вы сделали?

— Если не за что ухватить, значит, это круглое, и надо катить. Я погоняла ее до седьмого пота, а потом шлеп — и опрокинула эту Сливовую Запеканку. Потом потребовалась лебедка, чтобы ее поднять. У тебя, малыш Оскар, костяк легкий, мало ел бифштексов, это точно, но обаяние вовсе не зависит от костей или мяса, оно идет от сердца. А вот того, что идет от самого сердца, у тебя хоть отбавляй.

— У меня?

— Пойди к Пегги Блю и выскажи ей то, что у тебя на сердце.

— Я малость устал.

— Устал? Сколько тебе исполнилось к этому часу? Восемнадцать лет? В восемнадцать не знают усталости.

Бабушка Роза знает, что сказать, сразу прибывает энергии.

Уже стемнело, и любой шум эхом отдавался во мраке, линолеум в коридоре поблескивал в лунном свете.

Я вошел в палату Пегги и протянул ей мой плеер:

— Держи. Послушай «Вальс снежинок». Это так красиво! Когда я его слушаю, то думаю о тебе.





Пегги слушала «Вальс снежинок». Она улыбалась, будто этот вальс, как закадычная подружка, нашептывал ей что-то забавное.

Она протянула мне плеер и сказала:

— Красиво.

Это было ее первое слово. Правда же диковинно?

— Пегги Блю, хотел сказать тебе: я не хочу, чтобы тебе делали операцию. Ты и так красивая. Тебе идет голубой цвет.

Я заметил, что ей это понравилось. Я, правда, ей это не затем сказал, но ей точно понравилось.

— Я хочу, чтобы именно ты, Оскар, охранял меня от призраков.

— Можешь на меня положиться, Пегги.

Я был страшно горд. Ведь в конечном счете выиграл-то я!

— Поцелуй меня.

Ну, это типичные девчоночьи штучки, и охота им целоваться! Но Пегги — это совсем не то что Китайка. Она вовсе не испорченная, она подставила мне щеку, и мне правда было приятно поцеловать ее.

— До свидания, Пегги.

— До свидания, Оскар.

Ну вот, Бог, такой у меня вышел денек. Я понимаю, что в подростковом возрасте приятно мало. Это нелегко. Но в конечном счете к двадцати годам все утрясается. Так что я обращаюсь к тебе с сегодняшней просьбой: мне бы хотелось, чтобы мы с Пегги поженились. Я не уверен, что женитьба относится к духовной сфере, то есть к твоему ведомству. Можешь ли ты выполнить подобное желание, ведь с этим надо скорее в брачное агентство? Если в твоём отделе этого не водится, сообщи мне поскорее, чтобы я мог переадресовать свое желание более подходящей персоне. Не хочу торопить тебя, но напоминаю, что времени-то у меня мало. Итак: свадьба Оскара и Пегги Блю. Да или нет. Меня бы устроило, если бы ты смог.

До завтра. Целую,  
Оскар

P. S. А в самом деле, какой же у тебя адрес?

\* \* \*

Дорогой Бог!

Заметано, я женат. Сегодня у нас двадцать первое декабря, я двигаюсь к тридцатилетию, и я женат. Что касается детей, то мы с Пегги решили, что там дальше будет видно. На самом деле мне кажется, что она еще не готова.

Все произошло нынче ночью.

Около часу до меня донесся стон Пегги. Я так и подскочил в кровати. Призраки! Пегги Блю терзают призраки, а я-то обещал охранять ее. Она поймет, что я урод, и больше не скажет мне ни слова. И будет права.

Я поднялся и пошел на крик. Добравшись до палаты Пегги Блю, я увидел, что она сидит в кровати и с удивлением смотрит на меня. Должно быть, я тоже выглядел удивленным, поскольку рот у Пегги Блю был закрыт, а крики не прекращались.

Итак, я пробрался к следующей двери и понял, что это вопит; Бекон, извивающийся в постели из-за ожогов. На мгновение у меня возникли муки совести, я вспомнил тот день, когда проворонил пожар: в доме занялось пламя, досталось и коту, и собаке,



поджарились даже золотые рыбки, думаю, в результате они, должно быть, просто сварились. Я представил, что им пришлось пережить, и подумал про себя: бывает, все кончается еще хуже — воспоминания и мучительные ожоги, как у Бекон, несмотря на пересадку кожи и всякие мази.

Бекон свернулся клубком и перестал стонать. Я вернулся к Пегги Блю:

— Так это не ты стонала, Пегги? Я-то всегда считал, что это ты кричишь по ночам.

— А мне казалось, что ты.

Мы больше не возвращались к тому, что произошло, решив, что на самом-то деле каждый в течение долгого времени думал о другом.

Пегги Блю сделалась еще более голубой, это означало, что она сильно смущена.

— Что будешь делать, Оскар?

— А ты, Пегги?

С ума сойти, сколько у нас общего: одни и те же мысли, одни и те же вопросы.

— Хочешь спать здесь, со мной?

Девчонки — это нечто. У меня подобная фраза крутилась бы в мозгу часы, недели, месяцы, прежде чем я сумел бы ее из себя выдавить. А она высказала это так естественно, так просто.

— О'кей.

Я улегся в ее кровать. Было тесновато, но мы провели потрясающую ночь. Пегги Блю пахла орехами, кожа у нее такая же нежная, как у меня с тыльной стороны руки, но у нее везде так. Вытянувшись рядом, мы спали, мечтали, рассказывали о своей жизни.

Когда наутро старшая медсестра мадам Гомет обнаружила нас, тут уж точно началась настоящая опера. Она развопилась, ночная сестра тоже, они вопили на два голоса то над Пегги, то надо мной, двери хлопали, они призывали всех в свидетели, обзывали нас «несчастливыми малышами», в то время как мы были вполне счастливы. Наконец Бабушке Розе удалось прекратить этот концерт:

— Вы оставите этих детей в покое или нет? Кому вы служите — пациентам или режиму? Мне наплевать на режим, я выше этого. А теперь замолчите. Отправляйтесь чесать языками куда подальше. Здесь вам не базар.

Возражений не последовало, как всегда, когда в дело вмешивается Бабушка Роза. Она проводила меня в палату, и я ненадолго погрузился в сон.

Когда я проснулся, мы смогли все обсудить.

— Итак, Оскар, у вас с Пегги это серьезно?

— Железно, Бабушка Роза. Просто супер, я счастлив. Этой ночью мы поженились.

— Поженились?

— Да. Сделали все, что положено делать мужчине и женщине после свадьбы.

— Ах вот как?

— За кого вы меня принимаете? Мне — который час? — мне уже двадцать, я строю свою жизнь так, как я это понимаю.

— Ну конечно.

— И потом, представляете, то, что прежде, в юности, мне казалось отвратительным — поцелуй и прочие нежности, — так вот, в конце концов я вошел во вкус. Правда смешно, как все меняется?

— Оскар, я просто восхищаюсь тобой. Ты здорово продвинулся.

— Мы не стали проделывать лишь одну штуку — целоваться, касаясь языками.

Пегги Блю боялась, что от этого бывают дети. Что вы думаете об этом?

— Думаю, она права.

— Вот как? Что, если поцеловался в губы, то можно заиметь детей? Тогда у нас с Китайкой будут дети.

— Успокойся, Оскар, это все же маловероятно. Почти невероятно.



Похоже, Бабушка Роза была уверена в своих словах, и это меня немножко успокоило, потому как — я говорю об этом тебе, и только тебе, Бог, — наши с Пегги языки раз, ну, два, ну ладно, больше, соприкоснулись.

Я чуток поспал. Мы с Бабушкой Розой вместе пообедали, и я почувствовал себя лучше.

— С ума сойти, какой я был усталый нынче утром.

— Это нормально, в двадцать — двадцать пять лет гуляют по ночам, устраивают вечеринки, ведут разгульную жизнь и при этом совсем не берегут силы. За это приходится платить. Слушай, пойдем повидаем Бога.

— А, и правда, у вас есть его адрес?

— Думаю, мы найдем его в часовне.

Бабушка Роза одела меня как на Северный полюс, обхватила за плечи и проводила в часовню, стоящую в глубине больничного парка, за замерзшими лужайками, но чего это я пытаюсь объяснить тебе, где она расположена, ведь это твои места.

При виде твоей статуи я остолбенел, я наконец увидел, в каком ты состоянии, почти совсем голый, тощий, на этом кресте, повсюду раны, на лбу кровь от шипов, голова бессильно поникла. Это заставило меня задуматься о себе. Во мне поднялся протест. Если бы я был Богом, как ты, то не позволил бы проделать с собой такое.

— Бабушка Роза, если серьезно: вы занимались борьбой, вы были великой чемпионкой, не можете же вы верить в это!

— Почему, Оскар? Ты что, доверял бы Богу больше, если бы увидел культуриста со свиной отбивной, с рельефными мускулами, лоснящейся кожей, с короткой стрижкой и в кокетливых плавках?

— Ну...

— Поразмысли, Оскар. Кто тебе ближе: Бог, который ничего не испытал, или страдающий Бог?

— Конечно страдающий. Но если бы я был он, если бы я был Богом, если бы у меня были такие возможности, как у него, то постарался бы избежать страданий.

— Никто не может избежать страданий. Ни Бог, ни ты. Ни твои родители, ни я.

— Ладно. Согласен. Но зачем страдать?

— Именно. Страдание страданию рознь. Посмотри внимательно на его лицо. Вглядись. Разве у него страдающий вид?

— Нет. Надо же, ему вроде не больно.

— Ну да. Надо различать два вида мучений, малыш Оскар, — физическое страдание и страдание моральное. Физическое страдание — это испытание. Моральное страдание — это выбор.

— Не понимаю.

— Если тебе в ноги или в запястья вбивают гвозди, тебе не остается ничего иного, кроме как испытывать боль. Ты терпишь. Напротив, при мысли о смерти ты не обязан испытывать боль. Ты не знаешь, что это такое. Таким образом, это зависит от тебя.

— И вы, вы сами знакомы с такими людьми, которых радует мысль о смерти?

— Да, знакома. Моя мать была такой. На смертном одре на ее устах появилась улыбка, она предвкушала, она выказывала нетерпение, она жаждала, чтобы ей открылось то, что должно произойти.

У меня больше не было аргументов. Поскольку меня интересовало, что дальше, я позволил себе слегка обдумать услышанное.

— Но люди по большей части лишены любопытства, — заговорила Бабушка Роза — Они вцепляются в свою оболочку, будто вошь в лысину. Возьмем, к примеру, Сливовую Запеканку, мою ирландскую соперницу, натошак, в трико — сто пятьдесят кило, это перед тем, как выпить пива. Она всегда говорила мне: «Прости, но я не собираюсь



умирать, нет на это моего согласия, я на это не подписывалась». Она ошибалась. Ведь никто не заверял ее, что жизнь должна быть вечной, никто! Но она упорно верила в это, бунтовала, противилась самой мысли о неизбежности ухода, бесилась, впала в депрессию, она похудела, оставила борьбу, при этом она весила всего тридцать пять кило, можно сказать, рыбий скелет, — и сломалась. Понимаешь, она умерла, как все на свете, но мысль о смерти исковеркала ей жизнь.

— Сливовая Запеканка была глупа, да, Бабушка Роза?

— Как деревенская кулебяка. Но такое совсем не редкость. Это довольно часто встречается.

Здесь я поддакнул, с этим я был вполне согласен.

— Люди опасаются смерти, потому что страшатся неведомого. Но неведомое — что это на самом деле? Оскар, я предлагаю тебе не бояться, а верить. Посмотри на лицо распятого Бога: он терпит физическую муку, но не испытывает моральных мучений, так как у него есть вера. Он повторяет себе: это причиняет мне боль, но оно не может быть болью. Вот оно! В этом-то и есть благо веры. Это я и хотела показать тебе.

— О'кей. Бабушка Роза, если меня одолеет страх, я постараюсь пробудить в себе веру.

Она обняла меня. Вообще-то, Бог, мне было хорошо в этой пустой церкви рядом с тобой, таким умиротворенным.

По возвращении в палату я долго спал. Я сплю все дольше и дольше. Будто изголодался по сну. Проснувшись, я сказал Бабушке Розе:

— По правде сказать, я не боюсь неведомого. Меня мучает, что предстоит потерять тех, кого знал.

— Я согласна с тобой, Оскар. А не позвать ли Пегги Блю выпить с нами чайку?

И Пегги Блю пила с нами чай, они с Бабушкой Розой отлично поладили, нас здорово позабавил рассказ Бабушки Розы о ее схватке с сестрами Жиклетт, это три сестры-близняшки, которые пытались сойти за одну. После каждого раунда одна из сестер, напрыгавшись и измотав соперницу, выскакивала с ринга под тем предлогом, что ей нужно пописать, мчалась в туалет, а ее сестра, находившаяся в отличной форме, возвращалась, чтобы возобновить бой. И так далее. Все верили в то, что существует лишь одна неутомимая прыгунья Жиклетт. Бабушке Розе удалось раскрыть этот подвох, она закрыла двух дублерш в кабинках туалета и выбросила ключ в окно; ну а с той, что осталась, ей удалось довести схватку до конца. Коварная это штука, борьба, да и спорт вообще.

Потом Бабушка Роза уехала. Медсестры надзирали за мной и Пегги Блю, будто мы петарды, которые вот-вот взорвутся. Черт, мне как-никак стукнуло тридцать! Пегги Блю поклялась, что этой ночью она при первой возможности присоединится ко мне; в свою очередь я поклялся ей, что на сей раз не буду пускать в ход язык.

Это правда, мало завести детей, надо еще, чтобы хватило времени их вырастить.

Ну вот, Бог. Не знаю, о чем просить тебя сегодня, потому что это был прекрасный день. Да, сделай как-нибудь, чтобы завтра операция Пегги Блю прошла хорошо. Не так, как моя, если тебе понятно, что я имею в виду.

До завтра. Целую,

Оскар

Р. С. Операции, вроде, не относятся к духовным вещам, может, этого и не водится в твоей кладовой. Тогда сделай как-нибудь, чтобы, каков бы ни был результат операции, Пегги Блю восприняла его как благо. Рассчитываю на тебя.

\* \* \*



Дорогой Бог!

Сегодня оперировали Пегги. Я провел десять ужасных лет. Тридцать с хвостиком — это тяжело, это возраст забот и ответственности.

В сущности, Пегги никак не могла присоединиться ко мне этой ночью, потому что мадам Дюкрю, дежурная медсестра, оставалась в палате, чтобы приготовить ее к анестезии. Пегги положили на носилки в восемь часов. У меня сжалось сердце при виде того, как ее провозят на каталке, она была такая маленькая и худая, что ее едва можно было различить под изумрудно-зелеными простынями.

Бабушка Роза держала меня за руку, чтобы я не волновался.

— Бабушка Роза, почему твой Бог допускает, чтобы с людьми стряслось такое, как с Пегги и со мной?

— К счастью, он создал вас, малыш Оскар, потому что без вас жизнь была бы не такой прекрасной.

— Нет. Вы не понимаете. Почему Бог допускает, чтобы люди болели? Он злой? Или просто у него недостаточно сил?

— Оскар, болезнь — она как смерть. Это данность. Это не наказание.

— Сразу видно, что вы ничем не больны!

— Что ты об этом знаешь, Оскар!

Тут я заткнулся. Я и подумать не мог, что у Бабушки Розы, всегда такой внимательной, готовой помочь, могут быть свои проблемы.

— Не стоит скрывать от меня положение дел, Бабушка Роза, вы можете довериться мне. Мне по меньшей мере тридцать два года, у меня рак, жена на операции, так что я знаю, что такое жизнь.

— Я тебя люблю, Оскар.

— Я вас тоже. Но если у вас не все в порядке, могу я что-то для вас сделать? Хотите, я усыновлю вас?

— Усыновишь меня?

— Ну да, я уже усыновил Бернара, когда заметил, что тот захандрил.

— Какого Бернара?

— Моего медвежонка. Там. В шкафу. На полке. Это мой старый медвежонок, у него уже нет ни глаз, ни рта, ни носа, набивка наполовину вывалилась, и повсюду собрались складочки. Он немного похож на вас. Я усыновил его в тот вечер, когда мои олухи родители принесли мне нового медвежонка! Они думали, что это приведет меня в восторг. Может, они хотели бы и меня заменить на какого-нибудь младшего братца, пока меня там нет. С тех пор я и усыновил своего медвежонка. Я завещаю Бернару все, чем владею. Я и вас, если хотите, могу усыновить, если это вас подбодрит.

— Да, очень хочу. Мне кажется, Оскар, что это меня и правда подбодрит.

— Тогда по рукам, Бабушка Роза!

Потом мы пошли приготовить палату Пегги к ее возвращению, выложили шоколадки, поставили цветы.

Потом я заснул. С ума сойти, сколько я теперь сплю.

Ближе к вечеру Бабушка Роза разбудила меня» сказав, что Пегги Блю уже вернулась и операция прошла успешно.

Мы вместе отправились навестить ее. Возле изголовья сидели ее родители. Не знаю, кто их предупредил, сама Пегги или Бабушка Роза, но они вели себя так, будто им известно, кто я, отнеслись ко мне с уважением, усадили меня между собой, и я мог наблюдать за своей женой вместе с тестем и тещей.

Я был доволен тем, что Пегги по-прежнему была голубой. Явился доктор Дюссельдорф, нахмурил брови и сказал, что в ближайшие часы все должно измениться.





Я посмотрел на мать Пегги, та, хоть и не была голубой, все же была очень красивой, и я решил про себя, что после всего, что с нами произошло, моя жена Пегги может быть любого цвета, какого пожелает, я все равно буду любить ее.

Пегги открыла глаза, улыбнулась нам, мне, родителям, а потом снова заснула.

Ее родители приободрились, но им было пора уходить.

— Доверяем тебе нашу дочь, — сказали они мне. — Мы знаем, что на тебя можно положиться.

Мы с Бабушкой Розой дождались, пока Пегги снова открыла глаза, а потом я направился в свою палату передохнуть.

Заканчивая письмо, я понял, что сегодня, в конце концов, был хороший день. Семейный. Я усыновил Бабушку Розу, мы с тестем и тещей прониклись друг к другу симпатией, жена моя вновь в добром здравии, хотя около одиннадцати часов она порозовела.

До завтра. Целую,

Оскар

P. S. Сегодня никаких желаний. Нужно же и тебе отдохнуть.

\* \* \*

Дорогой Бог!

Сегодня я прожил период от сорока лет до пятидесяти и натворил при этом кучу глупостей.

Перескажу по-быстрому, потому что это не заслуживает внимания. Пегги Блю чувствует себя хорошо, но Китайка, подсланная Попкорном, который меня теперь терпеть не может, настучала ей, что я, мол, целовал ее в губы.

И вот из-за этого Пегги сказала мне, что между нами все кончено. Я протестовал, говорил ей, что с Китайкой это была ошибка юности, что это было задолго до нее, не может же она заставить меня всю жизнь расплачиваться за прошлые ошибки.

Но Пегги не уступила. Чтобы позлить меня, она даже подружилась с Китайкой, я слышал, как они заливаются смехом.

Из-за этого, когда Брижит, трисомичка [Трисомия — генетическая болезнь, обусловленная наличием добавочной хромосомы в хромосомном наборе.], которая вечно клеится ко всем подряд, такие больные страшно привязчивы, заглянула в мою палату поздороваться, я позволил ей целовать меня. Она чуть с ума не сошла от радости, что я ей это позволил. Будто пес, веселящийся, что наконец появился хозяин. Загвоздка в том, что в коридоре был Эйнштейн. Может, у него в мозгу и вода, но ведь он же не ослеп на оба глаза. Он все видел и тут же помчался докладывать Пегги и Китайке. Теперь весь этаж считает меня развязным, поэтому я и носа за порог не высовываю.

— Бабушка Роза, я просто не понимаю, как это у меня вышло с Брижит...

— Оскар, это все бесовские проделки среднего возраста. От сорока пяти до пятидесяти все мужчины таковы. Они пытаются себя успокоить, проверяют, могут ли еще нравиться женщинам, а не только той, которую любят.

— Ладно, согласен, пусть я нормальный, но я все же болван, да?

— Да. Успокойся, ты совершенно нормальный.

— И что мне теперь делать?

— Кого ты любишь?

— Пегги. И никого, кроме Пегги.

— Тогда скажи это ей. Первый брак всегда хрупок, всегда неустойчив, но нужно перебороть себя, чтобы сохранить его, если оно того стоит.



Слушай, Бог, завтра Рождество. Я никогда не понимал, что это твой день рождения. Сделай как-нибудь, чтобы я помирился с Пегги. Не знаю, от этого или нет, но сегодня вечером мне очень грустно и мужество совсем покинуло меня.

До завтра. Целую,  
Оскар

P.S. Теперь, когда мы подружились, скажи, что тебе подарить на день рождения?

\* \* \*

Дорогой Бог!

Сегодня утром в восемь часов я сказал Пегги, что любил ее, что любил лишь ее одну и не представляю себе жизни без нее. Она расплакалась и призналась, что я причинил ей сильную боль, потому что она тоже не любила никого, кроме меня, и что у нее не будет никого другого, тем более теперь, когда она порозовела.

И вот что любопытно: мы оба разрыдались, но это было очень приятно. Странная штука эта семейная жизнь. Особенно после пятидесяти, когда испытания уже позади.

Ровно в десять часов я понял, что нынче и вправду Рождество, что мне нельзя будет остаться с Пегги, потому что вся ее родня: братья, дядюшки, племянники, кузены — вот-вот объявится в ее палате, а мне предстоит выдержать визит родителей. Что же они еще собираются мне подарить? Головоломку из восемнадцати тысяч деталей? Книжки на курдском языке? Коробку, битком набитую инструкциями? Мой фотопортрет, снятый в те времена, когда я был здоров? Кретины, у которых мусорное ведро вместо головы, с такими горизонт всегда затянут тучами, приходится опасаться всего на свете. Словом, можно быть уверенным лишь в одном: мне предстоит дурацкий денек.

Мгновенно приняв решение, я организовал побег. Маленький обмен: мои игрушки — Эйнштейну, покрывало — Бекону, а конфеты — Попкорну. Маленькое наблюдение: Бабушка Роза, перед тем как уйти, всегда заглядывает в раздевалку. Маленькая догадка: мои родители прибудут не раньше полудня. Все вышло отлично: в одиннадцать тридцать Бабушка Роза поцеловала меня, пожелав хорошо провести Рождество вместе с родителями, а потом скрылась в раздевалке. Я свистнул. Попкорн, Эйнштейн и Бекон помогли мне быстро одеться, поддерживали под руки, пока мы спускались по лестнице. Они донесли меня прямо до колымаги Бабушки Розы (ее машину явно сделали в доавтомобильную эру). Попкорн, здорово поднаторевший в открывании всяких замков, поскольку он вырос не в самых респектабельных местах, открыл с помощью отмычки заднюю дверцу, и они водворили меня на пол между передним и задним сиденьями. Потом они, никем не замеченные, вернулись в больницу.

Бабушка Роза через энное время забралась в свою машину, мотор покряхтел раз десять-пятнадцать, перед тем как завестись, и автомобиль с адским ревом тронулся. Эти машины доавтомобильной эры — просто гениальная штука. Поднимается такой гвалт, будто мчишься по тряской дороге в ярмарочный день.

Проблема заключалась в том, что Бабушка Роза, должно быть, обучалась вождению у своего друга каскадера: ей было плевать на всякие там светофоры, тротуары и транспортные развязки, к тому же машину время от времени подбрасывало. В кабине сильно трясло, а Бабушка Роза изо всех сил жала на клаксон. Кстати, мой словарный запас весьма обогатился: она так и сыпала проклятиями в адрес всякой сволочи, попадавшей на пути, я в который раз подумал о том, что борьба на ринге — это отличная школа жизни.

Я собирался, когда мы доберемся до места, выпрыгнуть с возгласом «Бабушка Роза, ку-ку!», но эта езда с препятствиями длилась так долго, что меня сморил сон.



Когда я проснулся, кругом было по-прежнему темно и тихо, я обнаружил, что в машине никого нет, а подо мной мокрый коврик. Тут до меня впервые дошло, что я, похоже, сплутал.

Я вышел из машины, падал снег. Но меж тем это было совсем не так приятно, как в «Вальсе снежинок» из «Щелкунчика». У меня зуб на зуб не попадал.

Я оказался перед большим освещенным домом. Шагнул вперед. Мне было довольно скверно. Кое-как допрыгнул до звонка и рухнул на плетеный коврик.

Там-то меня и обнаружила Бабушка Роза.

— Но... Но... — пыталась она что-то сказать. Потом склонилась ко мне и прошептала: — Дорогой мой.

И тогда я подумал, что, может, это было не так уж глупо.

В гостиной, куда она меня внесла, стояла огромная наряженная елка, слепившая глаза. Я удивился, как здорово у нее дома. Бабушка Роза отогрела меня у огня, и мы выпили по большой чашке шоколаду. Может, конечно, она хотела сперва удостовериться, что мне уже стало лучше, прежде чем отругать. Но благодаря этому я успел прийти в себя, это было не так-то просто, потому что в тот момент меня охватила сильная усталость.

— Оскар, в больнице все тебя разыскивают. Там такой переполох. Твои родители просто в отчаянии. Они уже сообщили в полицию.

— Это меня не удивляет. С них станется поверить, что я смогу их полюбить, стоит на меня надеть наручники...

— В чем ты их упрекаешь?

— Они боятся меня. Не осмеливаются говорить со мной. И чем больше они робеют, тем больше я сам себе кажусь чудовищем. Почему? Разве я навожу на них ужас? Неужто я настолько безобразен? Я что, стал идиотом и сам того не заметил?

— Оскар, они боятся не тебя. Они боятся твоей болезни.

— Моя болезнь — это часть меня. Им не следует менять свое поведение из-за того, что я болен. Неужто они могут любить меня, лишь когда я здоров?

— Они любят тебя, Оскар. Они мне так сказали.

— Вы говорили с ними?

— Да. Они завидовали тому, что мы с тобой так ладим. Нет, не завидовали, им было грустно. Грустно, что у них так не выходит.

Я пожал плечами, но гнев мой уже несколько улегся. Бабушка Роза принесла мне вторую порцию горячего шоколада.

— Понимаешь, Оскар, конечно, однажды ты умрешь. Но ведь твои родители, они умрут тоже.

Меня удивили эти слова. Никогда не думал об этом.

— Да. Они тоже умрут. Совсем одни. Жестоко упрекая себя в том, что не смогли помириться со своим единственным ребенком, с обожаемым Оскаром.

— Не говорите так, Бабушка Роза. Это вгоняет меня в тоску.

— Подумай о них, Оскар. Да, тебе предстоит умереть. Ты очень умен и понимаешь это. Но ты не понял, что умрешь не только ты. Все умрут. Твои родители однажды тоже. И я тоже.

— Да. Но в конце-то концов я уйду прежде, чем вы.

— Это так. Ты уйдешь прежде. Но между тем разве ты имеешь право делать все что угодно, поскольку уйдешь прежде? Право забывать о других?

— Я понял, Бабушка Роза. Позвоните им.

Ну вот, Бог, продолжение я перескажу тебе коротко, а то у меня уже рука устала от писанины. Бабушка Роза позвонила в больницу, а те предупредили моих родителей, они прибыли к Бабушке Розе, и мы все вместе отпраздновали Рождество.



Когда явились родители, я сказал им:

— Простите, я забыл, что и вам тоже однажды предстоит умереть.

Не знаю, может, эти слова помогли им освободиться от скованности, но после этого они стали такими, как раньше, и мы классно провели рождественский вечер.

На десерт Бабушка Роза захотела посмотреть по телевизору полуночную рождественскую мессу и турнир по кэтч в записи. Она сказала, что из года в год, чтобы встряхнуться, устраивает себе просмотр боев перед рождественской мессой, и это доставляет ей удовольствие. И вот мы поглядели приготовленную ею кассету. Это было великолепно. Мефиста против Жанны д'Арк! Трико и велосипедные леггинсы! «Вот чертовы бабы!» — сказал папа. Он весь раскраснелся, похоже, ему здорово понравился кэтч. Трудно вообразить себе, сколькими крепкими ударами в челюсть они обменялись. Я бы уже сто раз сдох в таком поединке. «Это зависит от тренировки, — сказала Бабушка Роза, — чем больше получаешь ударов в челюсть, тем легче их переносишь. Надо всегда сохранять надежду». И правда, выиграла Жанна д'Арк, хотя в действительности поначалу в это было трудно поверить. Словом, тебе бы это понравилось.

Кстати, Бог, с днем рождения! Бабушка Роза, укладывая меня в кровать своего старшего сына, он работает ветеринаром в Конго, лечит слонов, заверила меня, что мое примирение с родителями может по-

служить хорошим подарком тебе на рождение. Честно говоря, я считаю, что это подарок так себе, но раз уж Бабушка Роза, твоя старая приятельница, так думает...

До завтра. Целую,

Оскар

P. S. Чуть не забыл про свое желание: пусть мои родители всегда будут такими, как в этот вечер. И я тоже. Это было забавное Рождество, особенно Мефиста против Жанны д'Арк. Извини, что пропустил мессу, я отрубился раньше.

\* \* \*

Дорогой Бог!

Мне исполнилось шестьдесят лет, и я расплачиваюсь за вчерашние излишества. Сегодня я, прямо скажем, не в лучшей форме.

Было приятно вернуться к себе в больницу. В старости всегда пропадает желание путешествовать. Я уверен, что теперь мне не захочется покидать палату.

В своем вчерашнем письме я забыл упомянуть, что на лестнице у Бабушки Розы, на этажерке, стоит статуэтка Пегги Блю. Могу поклясться чем хочешь. В точности она, только из гипса, то же нежное лицо, те же голубые тона одежды и кожи. Бабушка Роза утверждает, что это Дева Мария, твоя мать, если я правильно понял; статуэтка хранится в ее семье уже несколько поколений. Она позволила мне ее взять. Я поставил ее на тумбочку у кровати. В любом случае когда-нибудь это снова вернется к семейству Бабушки Розы, поскольку я ее усыновил.

Пегги Блю чувствует себя лучше. Она приезжала навестить меня в кресле на колесиках. Она не признала себя в статуэтке, но мы славно провели время вместе. Слушали «Щелкунчика», держась за руки, это напомнило нам прошлое.

Не могу говорить с тобой дольше, потому что мне немного тяжело удерживать ручку. Здесь все поголовно больны, даже доктор Дюссельдорф, — а все шоколад, паштет из гусиной печени, засахаренные каштаны и шампанское, которыми родители закармливали персонал. Мне хотелось бы, чтобы ты навестил меня. Целую. До завтра,

Оскар



\* \* \*

Дорогой Бог!

Сегодня я прожил от семидесяти лет до восьмидесяти и много размышлял.

Вначале я использовал подарок, который преподнесла мне Бабушка Роза на Рождество. Не знаю, говорил ли я тебе? Это растение из пустыни Сахара, которому на жизнь отпущен всего один день. Как только его семена впитывают воду, оно прорастает, дает побег, выпускает листочки, цветок, появляются семена, затем оно увядает, съезживается и — хоп, вечером все кончено. Гениальный подарок, спасибо, ты здорово это придумал. Сегодня в семь утра мы с Бабушкой Розой и родителями полили его — кстати, не помню, сказал ли я тебе, что родители переехали к Бабушке Розе, потому что это ближе, — так вот, я смог видеть все моменты его развития. Страшно разволновался. Конечно, это довольно чахлый и мелкий цветок — ничего общего с баобабом, но он на наших глазах отважно, без остановок, в течение дня исполнил свой долг растения, не хуже чем какой-нибудь крупный экземпляр.

Мы с Пегги Блю долго читали Медицинский словарь. Это ее любимая книга. Ее страстно интересуют болезни, и она ломала голову над тем, какие из них могут позже выпасть на ее долю. А я искал интересующие меня статьи: Жизнь, Смерть, Вера, Бог. Хочешь верь, хочешь нет, их там не оказалось. Заметь, это доказывает хотя бы то, что жизнь, смерть, вера и ты сам — вовсе не болезни. Так что это скорее хорошая новость. Но между прочим, разве в такой серьезной книге не должны содержаться ответы на самые серьезные вопросы?

— Бабушка Роза, я поражен, что в Медицинском словаре даны только частности, описаны различные неполадки, которые могут возникнуть у того или иного человека. Но там нет ничего про то, что касается всех нас: Жизнь, Смерть, Вера, Бог.

— Оскар, может, надо было взять Философский словарь? Между тем, даже если тебе удастся найти волнующие тебя темы, есть риск, что ты все равно будешь разочарован. По каждому поводу там дается множество довольно разных ответов.

— Как это?

— Интересующие всех вопросы так и остаются вопросами. Они окутаны тайной. К каждому ответу нужно прибавлять «быть может». Окончательный ответ можно дать лишь на лишние интересы вопросы.

— Вы хотите сказать, что у Жизни нет единственного решения?

— Я хочу сказать, что Жизнь имеет множество решений, а значит, единственного решения нет.

— Я как раз думал именно об этом» Бабушка Роза, — что для жизни нет иного решения, чем просто жить.

К нам заходил доктор Дюссельдорф. По-прежнему с видом побитого пса. Его густые черные брови только усиливают это впечатление.

— Вы причесываете свои брови, доктор Дюссельдорф? — спросил я его.

Он удивленно оглянулся по сторонам, будто хотел спросить у Бабушки Розы и моих родителей, не ослышался ли он. В конце концов он приглушенно выдал «да».

— Доктор Дюссельдорф, какой смысл расхаживать с виноватым видом? Слушайте, я скажу вам начистоту, потому что я всегда вел себя очень корректно в плане лечения, а вы в том, что касается болезней, вы были совершенно безупречны. Оставьте этот свой виноватый вид. Не ваша вина, если вам приходится сообщать людям скверные вести, рассказывать про все эти болезни с латинскими названиями и про то, что это неизлечимо. Освободитесь. Расслабьтесь. Вы не Бог-Отец. Вы не можете приказывать природе. Вы всего лишь занимаетесь ремонтом. Притормозите, доктор Дюссельдорф,





сбросьте напряжение, не придавайте своим действиям слишком большого значения, иначе при такой профессии вы долго не продержитесь. Вы только поглядите на себя.

При моих словах у доктора Дюссельдорфа сделался такой вид, будто он невзначай проглотил яйцо. Потом на его лице возникла улыбка Настоящая улыбка. Он обнял меня:

— Ты прав, Оскар. Спасибо, что сказал все это.

— Не за что, доктор. Всегда к вашим услугам. Заходите когда вздумается.

Вот так-то, Бог. Зато тебя я жду всегда. Приходи без колебаний. Даже если в этот момент вокруг полно народу. Мне правда будет приятно.

До завтра. Целую,

Оскар

\* \* \*

Дорогой Бог!

Пегги Блю уехала. Она вернулась к родителям. Я ведь не идиот и понимаю, что больше ее не увижу. Никогда.

Я не писал тебе, потому что было очень грустно. Мы с Пегги прожили жизнь вместе, и теперь я оказался один, лысый, ослабевший, усталый — лежу себе в постели. Какое безобразие эта старость.

Теперь я разлюбил тебя.

Оскар

\* \* \*

Дорогой Бог!

Спасибо, что зашел.

Ты выбрал ровно тот момент, что нужно, потому что я чувствовал себя скверно. Может, и ты был раздражен из-за моего вчерашнего письма...

Когда я проснулся, мне почудилось, что мне уже девяносто лет. Я повернул голову к окну, чтобы посмотреть на снег.

И тут я догадался, что ты приходил. Было утро. Я был один на Земле. Было так рано, что птицы еще спали, даже дежурная медсестра мадам Дюкрю вздремнула, а ты, ты тем временем пробовал сотворить рассвет. Это оказалось довольно трудно, но ты все же справился. Небо постепенно бледнело. Ты наполнил воздушные сферы белым, серым, голубым, ты отстранил ночь и оживил мир. Ты не останавливался. И тут я понял различие между тобой и нами: ты неутомимый мужик! Ничего не упустишь. Всегда за работой. И вот он, день! Вот ночь! Вот весна! И вот зима! И вот она, Пегги Блю! И вот Оскар! И вот Бабушка Роза! Какое здоровье!

Я понял, что ты был здесь. И открыл мне свою тайну: нужно каждый день смотреть на мир, будто видишь его в первый раз.

Что ж, я последовал твоему совету и применил это. В первый раз. Я созерцал свет, краски дня, деревья, птиц, животных. Я чувствовал, как в мои ноздри входит воздух и заставляет меня дышать. Я слышал голоса, разносившиеся в коридоре будто под сводами собора. Я ощутил себя живым. Меня переполняла дрожь чистой радости. Счастье бытия. Я был преисполнен изумления.

Бог, спасибо, что ты сделал это для меня. Мне казалось, что ты взял меня за руку и ввел в сердцевину тайны, чтобы созерцать эту тайну. Спасибо.

До завтра. Целую,

Оскар



Р. S. Мое желание: ты не смог бы повторить этот трюк с первым разом для моих родителей? Бабушка Роза, мне кажется, уже его знает. И потом еще разок для Пегги, если у тебя найдется время...

\* \* \*

Дорогой Бог!

Сегодня мне сто лет. Как Бабушке Розе. Я много сплю, но чувствую себя хорошо.

Я попытался объяснить своим родителям, что жизнь — забавный подарок.

Поначалу этот подарок переоценивают: думают, что им вручили вечную жизнь. После — ее недооценивают, находят никудышной, слишком короткой, почти готовы бросить ее. И наконец, сознают, что это был не подарок, жизнью просто дали попользоваться. И тогда ее пытаются ценить. Мне сто лет, и я знаю, о чем говорю. Чем старше становишься, тем сильнее проявляется вкус к жизни. Нужно быть эстетом, художником. Какой-нибудь кретин в возрасте от десяти до двадцати лет может играть жизнью по собственной прихоти, но в сто лет, когда уже не можешь больше двигаться, тут уже следует использовать интеллект.

Не знаю, удалось ли мне их убедить.

Навести их. Закончи работу. А я немного устал.

До завтра. Целую,

Оскар

\* \* \*

Дорогой Бог!

Сто десять лет. Это много. Кажется, начинаю умирать.

Оскар

\* \* \*

Дорогой Бог!

Мальчик умер.

Я навсегда останусь Розовой Дамой, но никогда больше не буду Бабушкой Розой. Я была ею только для Оскара.

Он угас нынче утром, за полчаса, пока мы с его родителями пошли выпить кофе. Это случилось, когда нас не было. Я думаю, он, желая пощадить нас, выжидал именно этого момента. Будто хотел избавить нас от жестокого зрелища смерти. На самом деле это не мы, это он заботился о нас.

У меня болит душа, на сердце тяжело, там живет Оскар, и я не могу прогнать его. Нужно, чтобы мне удалось удержаться от слез до вечера, потому что невозможно сравнить мою скорбь с той непереносимой болью, что испытывают его родители.

Спасибо, что мне выпало узнать Оскара. Ради него я старалась быть забавной, выдумывала разные небылицы. Благодаря ему я познала смех и радость. Он помог мне поверить в Тебя. Меня переполняет любовь, она жжет мое сердце, он дал мне ее столько, что хватит еще на много лет.

До встречи,

Бабушка Роза

Р. S. В последние три дня Оскар держал на тумбочке у кровати карточку. Думаю, это Тебя касается. Он написал: «Только Бог имеет право разбудить меня».



## Александр Грин «Победитель»

I

- Наконец-то фортуна пересекает нашу дорогу, - сказал Геннисон, закрывая дверь и вешая промокшее от дождя пальто. - Ну, Джен, - отвратительная погода, но в сердце моем погода хорошая. Я опоздал немного потому, что встретил профессора Стерса. Он сообщил потрясающие новости.

Говоря, Геннисон ходил по комнате, рассеянно взглядывая на накрытый стол и потирая озябшие руки характерным голодным жестом человека, которому не везет и который привык предпочитать надежды обеду; он торопился сообщить, что сказал Стерс.

Джен, молодая женщина с требовательным, нервным выражением сурово горящих глаз, нехотя улыбнулась.

- Ох, я боюсь всего потрясающего, - сказала она, приступая было к еде, но, видя, что муж взволнован, встала и подошла к нему, положив на его плечо руку. - Не сердись. Я только хочу сказать, что когда ты приносишь

"потрясающие" новости, у нас, на другой день, обыкновенно, не бывает денег.

- На этот раз, кажется, будут, - возразил Геннисон. - Дело идет как раз о посещении мастерской Стерсом и еще тремя лицами, составляющими в жюри конкурса большинство голосов. Ну-с, кажется, даже наверное, что премию дадут мне. Само собой, секреты этого дела - вещь относительная; мою манеру так же легко узнать, как Пунка, Стаорти, Бельграва и других, поэтому Стерс сказал: - "Мой милый, это ведь ваша фигура "Женщины, возводящей ребенка вверх по крутой тропе, с книгой в руках"? - Конечно, я отрицал, а он докончил, ничего не выпытав от меня: - "Итак, говоря условно, что ваша, - эта статуя имеет все шансы. Нам, - заметь, он сказал "нам", - значит, был о том разговор, - нам она более других по душе. Держите в секрете. Я сообщаю вам это потому, что люблю вас и возлагаю на вас большие надежды.

Поправляйте свои дела".

- Разумеется, тебя нетрудно узнать, - сказала Джен, - но, ах, как трудно, изнемогая, верить, что в конце пути будет наконец отдых. Что еще сказал Стерс?

- Что еще он сказал, - я забыл. Я помню только вот это и шел домой в полусознательном состоянии. Джен, я видел эти три тысячи среди небывалого радужного пейзажа. Да, это так и будет, конечно. Есть слух, что хороша также работа Пунка, но моя лучше. У Гизера больше рисунка, чем анатомии. Но отчего Стерс ничего не сказал о Ледане?

- Ледан уже представил свою работу?

- Верно - нет, иначе Стерс должен был говорить о нем. Ледан никогда особенно не торопится. Однако на днях он говорил мне, что опаздывать не имеет права, так как шесть его детей, мал мала меньше, тоже, вероятно, ждут премию. Что ты подумала?

- Я подумала, - задумавшись, произнесла Джен, - что, пока мы не знаем, как справился с задачей Ледан, рано нам говорить о торжестве.

- Милая Джен, Ледан талантливее меня, но есть две причины, почему он не получит премии. Первая: его не любят за крайнее самомнение. Во-вторых, стиль его не в фаворе у людей положительных. Я ведь все знаю. Одним словом,

Стерс еще сказал, что моя "Женщина" - удачный символ науки, ведущей младенца - Человечество - к горной вершине Знания.



- Да... Так почему он не говорил о Ледане?

- Кто?

- Стерс.

- Не любит его: просто - не любит. С этим ничего не поделаешь. Так можно лишь объяснить.

Напряженный разговор этот был о конкурсе, объявленном архитектурной комиссией, строящей университет в Лиссе. Главный портал здания было решено украсить бронзовой статуей, и за лучшую представленную работу город обещал три тысячи фунтов.

Геннисон съел обед, продолжая толковать с Джен о том, что они сделают, получив деньги. За шесть месяцев работы Геннисона для конкурса эти разговоры еще никогда не были так реальны и ярки, как теперь. В течение десяти минут Джен побывала в лучших магазинах, накупила массу вещей, переехала из комнаты в квартиру, а Геннисон между супом и котлетой съездил в Европу, отдохнул от унижений и нищеты и задумал новые работы, после которых придут слава и обеспеченность.

Когда возбуждение улеглось и разговор принял не столь блестящий характер, скульптор утомленно огляделся. Это была все та же тесная комната, с грошовой мебелью, с тенью нищеты по углам. Надо было ждать, ждать...

Против воли Геннисона беспокоила мысль, в которой он не мог признаться даже себе. Он взглянул на часы - было почти семь - и встал.

- Джен, я схожу. Ты понимаешь - это не беспокойство, не зависть - нет;

я совершенно уверен в благополучном исходе дела, но... но я посмотрю все-таки, нет ли там модели Ледана. Меня интересует это бескорыстно. Всегда хорошо знать все, особенно в важных случаях.

Джен подняла пристальный взгляд. Та же мысль тревожила и ее, но так же, как Геннисон, она ее скрыла и выдала, поспешно сказав:

- Конечно, мой друг. Странно было бы, если бы ты не интересовался искусством. Скоро вернешься?

- Очень скоро, - сказал Геннисон, надевая пальто и беря шляпу. - Итак, недели две, не больше, осталось нам ждать. Да.

- Да, так, - ответила Джен не очень уверенно, хотя с веселой улыбкой, и, поправив мужу выбившиеся из-под шляпы волосы, прибавила: - Иди же. Я сяду шить.

II

Студия, отведенная делам конкурса, находилась в здании Школы Живописи и Ваяния, и в этот час вечера там не было уже никого, кроме сторожа Нурса, давно и хорошо знавшего Геннисона. Войдя, Геннисон сказал:

- Нурс, откройте, пожалуйста, северную угловую, я хочу еще раз взглянуть на свою работу и, может быть, подправить кой-что. Ну, как - много ли доставлено сегодня моделей?

- Всего, кажется, четырнадцать. - Нурс стал глядеть на пол. -

Понимаете, какая история. Всего час назад получено распоряжение не пускать никого, так как завтра соберется жюри и, вы понимаете, желают, чтобы все было в порядке.

- Конечно, конечно, - подхватил Геннисон, - но, право, у меня душа не на месте и беспокойно мне, пока не посмотрю еще раз на свое. Вы меня поймите по-человечески. Я никому не скажу, вы тоже не скажете ни одной душе, таким образом это дело пройдет безвредно. И... вот она, - покажите-ка ей место в кассе "Гриль-Рума".

Он вытащил золотую монету - последнюю - все, что было у него, - и положил в нерешительную ладонь Нурса, сжав сторожу пальцы горячей рукой.



- Ну, да, - сказал Нурс, - я это очень все хорошо понимаю... Если, конечно... Что делать - идем.

Нурс привел Геннисона к темнице надежд, открыл дверь, электричество, сам стал на пороге, скептически окинув взглядом холодное, высокое помещение, где на возвышениях, покрытых зеленым сукном, виднелись неподвижные существа из воска и глины, полные той странной, преображенной жизненности, которая отличает скульптуру. Два человека разное смотрели на это.

Нурс видел кукол, в то время как боль и душевное смятение вновь ожили в Геннисоне. Он заметил свою модель в ряду чужих, отточенных напряжений и стал искать глазами Ледана.

Нурс вышел.

Геннисон прошел несколько шагов и остановился перед белой небольшой статуей, вышиной не более трех футов. Модель Ледана, которого он сразу узнал по чудесной легкости и простоте линий, высеченная из мрамора, стояла меж Пунком и жалким размышлением честного, трудолюбивого Происа, давшего тупую Юнону с щитом и гербом города. Ледан тоже не изумил выдумкой.

Всего-навсего - задумчивая фигура молодой женщины в небрежно спадающем покрывале, слегка склоняясь, чертила на песке концом ветки геометрическую фигурку. Сдвинутые брови на правильном, по-женски сильном лице отражали холодную, непоколебимую уверенность, а нетерпеливо вытянутый носок стройной ноги, казалось, отбивает такт некоего мысленного расчета, какой она производит.

Геннисон отступил с чувством падения и восторга. - "А! - сказал он, имея, наконец, мужество стать только художником. - Да, это искусство. Ведь это все равно, что поймать луч. Как живет. Как дышит и размышляет".

Тогда - медленно, с сумрачным одушевлением раненого, взирающего на свою рану одновременно взглядом врача и больного, он подошел к той "Женщине с книгой", которую сотворил сам, вручив ей все надежды на избавление. Он увидел некоторую натянутость ее позы. Он всмотрелся в наивные недочеты, в плохо скрытое старание, которым хотел возместить отсутствие точного художественного видения. Она была относительно хороша, но существенно плоха рядом с Леданом. С мучением и тоской, в свете высшей справедливости, которой не изменял никогда, он признал бесспорное право Ледана делать из мрамора, не ожидая благосклонного кивка Стерса.

За несколько минут Геннисон прожил вторую жизнь, после чего вывод и решение могли принять только одну, свойственную ему, форму. Он взял каминные щипцы и тремя сильными ударами обратил свою модель в глину, - без слез, без дикого смеха, без истерики, - так толково и просто, как уничтожают неудавшееся письмо.

- Эти удары, - сказал он прибежавшему на шум Нурсу, - я нанес сам себе, так как сломал только собственное изделие. Вам придется немного здесь подмести.

- Как?! - закричал Нурс, - эту самую... и это - ваша... Ну, а я вам скажу, что она-то мне всех больше понравилась. Что же вы теперь будете делать?

- Что? - повторил Геннисон. - То же, но только лучше, - чтобы оправдать ваше лестное мнение обо мне. Без щипцов на это надежда была плоха. Во всяком случае, нелепый, бородатый, обремененный младенцами и талантом Ледан может быть спокоен, так как жюри не остается другого выбора.





## Успенский Глеб «Выпрямила»

(Отрывок из записок Тяпушкина.)

I

...Кажется, в "Дыме" устами Потугина И. С. Тургенев сказал такие слова: "Венера Милосская несомненное принципов восемьдесят девятого года". Что же значит это загадочное слово "несомненное" Венера Милосская несомненна, а принципы сомненны? И есть ли наконец что-нибудь общего между этими двумя сомненными и несомненными явлениями?

Не знаю, как понимают дело "знатоки", но мне кажется, что не только "принципы" стоят на той самой линии, которая заканчивается "несомненным", но что даже я, Тяпушкин, ныне сельский учитель, даже я, ничтожное земское существо, также нахожусь на той самой линии, где и принципы, где и другие удивительные проявления жаждущей совершенства человеческой души, на той линии, в конце которой, по нынешним временам, я, Тяпушкин, вполне согласен поставить фигуру Венеры Милосской. Да, мы все на одной линии, и если я, Тяпушкин, стою, быть может, на самом отдаленнейшем конце этой линии, если я совершенно неприметен по своим размерам, то это вовсе не значит, чтобы я был сомненнее "принципов" или чтобы принципы были сомненнее Венеры Милосской; все мы - я, Тяпушкин, принципы и Венера - все мы одинаково несомненны, то есть моя, тяпушкинская, душа, проявляя себя в настоящее время в утомительной школьной работе, в массе ничтожнейших, хотя и ежедневных, волнений и терзаний, наносимых на меня народною жизнью, действует и живет в том же самом несомненном направлении и смысле, которые лежат и в несомненных принципах и широко выражаются в несомненности Венеры Милосской.

А то скажите, пожалуйста, что выдумали: Венера Милосская несомненна, "принципы" уже сомненны, а я, Тяпушкин, сидящий почему-то в глуши деревни, измученный ее настоящим, опечаленный и поглощенный ее будущим, - человек, толкующий о лаптях, деревенских кулаках и т. д., - я-то будто бы уж до того ничтожен, что и места на свете мне нет!

Напрасно! Именно потому-то, что я вот в ту самую минуту, когда пишу это, сижу в холодной, по всем углам промерзшей избенке, что у меня благодаря негодяю старосте развалившаяся печка набита сырыми, шипящими и распространяющими угар дровами, что я сплю на голых досках под рваным полушубком, что меня хотят "поедом съесть" чуть не каждый день, - именно потому-то я и не могу, да и не желаю устранить себя с той самой линии, которая и через принципы и через сотни других великих явлений, благодаря которым вырастал человек, приведет его, быть может, к тому совершенству, которое дает возможность чутя Венера Милосская. А то, изволите видеть: "там, мол, красота и правда, а тут, у вас, - только мужицкие лапти, рваные полушубки да блохи!" Извините!..

Все это я пишу по следующему, весьма неожиданному для меня обстоятельству: был я вчера благодаря масленице в губернском городе, частью по делам, частью за книжками, частью посмотреть, что там делается вообще. И за исключением нескольких дельно занятых минут, проведенных в лаборатории учителя гимназии, - минут, посвященных науке, разговору "не от мира сего", напоминавшему монашеский разговор в монашеской келье, - все, что я видел за пределами этой кельи, поистине меня растерзало; я никого не осуждаю, не порицаю, не могу даже выражать согласия или несогласия с убеждениями тех лиц "губернии", губернской интеллигенции, которую я



видел, нет! Я изныл душой в каких-нибудь пять, шесть часов пребывания среди губернского общества именно потому, что не видел и признаков этих убеждений, что вместо них есть какая-то печальная, плачевная необходимость уверять себя, всех и каждого в невозможности быть сознающим себя человеком, в необходимости делать огромные усилия ума и совести, чтобы построить свою жизнь на явной лжи, фальши и риторике.

Я уехал из города, ощущая огромный кусок льду в моей груди; ничего не нужно было сердцу, и ум отказывался от всякой работы. И в такую-то мертвую минуту я был неожиданно взволнован следующей сценой:

- Поезд стоит две минуты! - второпях пробегая по вагонам, возвестил кондуктор.

Скоро я узнал, отчего кондуктор должен был так поспешно пробежать по вагонам, как он пробежал: оказалось, что в эти две минуты нужно было посадить в вагоны третьего класса огромную толпу новобранцев последнего призыва из нескольких волостей.

Поезд остановился; был пятый час вечера; сумрак уже густыми теньями лег на землю; снег большими хлопьями падал с темного неба на огромную массу народа, наполнявшую платформу: тут были жены, матери, отцы, невесты, сыновья, братья, дядья - словом, масса народа. Все это плакало, было пьяно, рыдало, кричало, прощалось. Какие-то энергические кулаки, какие-то поднятые локти, жесты пихающих рук, дружно направленные на массу и среди массы, сделали то, что народ валил на вагоны, как испуганное стадо, валился между буферами, бормоча пьяные слова, валялся на платформе, на тормозе вагона, лез и падал, и плакал, и кричал. Послышался треск стекол, разбиваемых в вагонах, битком набитых народом; в разбитые окна высунулись головы, растрепанные, разрезанные стеклом, пьяные, заплаканные, хриплыми голосами кричавшие что-то, вопившие о чем-то.

Поезд умчался.

Все это продолжалось буквально две-три минуты; и это потрясающее "мгновение" воистину потрясло меня; точно огромный пласт сырой земли был отодран неведомою силой, оторван каким-то гигантским плугом от своего исконного места, оторван так, что затрещали и оборвались живые корни, которыми этот пласт земли прирос к почве, оторван и унесен неведомо куда... Тысячи изб, семей представились мне как бы ранеными, с оторванными членами, предоставленными собственными средствами заживать эти раны, "справляться", заращивать раненые места.

Умышленное "заговаривание" хорошими словами душевной неправды, умышленное стремление не жить, а только соблюсти обличье жизни, впечатление, привезенное мною из города, - слившись с этой "сущей правдой" деревенской жизни, мелькнувшей мне в двухминутной сцене, отразились во мне ощущением какого-то беспредельного несчастья, ощущением, не поддающимся описанию.

Воротившись в свой угол, неприветливый, холодный, с промерзлыми подоконниками, с холодной печью, я был так подавлен сознанием этого несчастья вообще, что невольно и сам почувствовал себя самым несчастнейшим из несчастнейших существ. "Вот что вышло!" - подумалось мне, и, припомнив как-то сразу всю мою жизнь, я невольно глубоко закручинился над нею: вся она представилась мне как ряд неприветливейших впечатлений, тяжелых сердечных ощущений, беспрестанных терзаний, без просвета, без малейшей тени тепла, холодная, истомленная, а сию минуту не дающая возможности видеть и впереди ровно ничего ласкового.

Затопив печку сырыми дровами, я закутался в рваный полушубок и улегся на самодельную деревянную кровать, лицом в набитую соломой подушку. Я заснул, но спал, чувствуя каждую минуту, что "несчастье" сверлит мой мозг, что горе моей жизни точит меня всего каждую секунду. Мне ничего неприятного не снилось, но что-то



заставляло глубоко вздыхать во сне, непрерывно угнетало мой мозг и сердце. И вдруг, во сне же, я почувствовал что-то другое; это другое было так непохоже на то, что я чувствовал до сих пор, что я хотя и спал, а понял, что со мной происходит что-то хорошее; еще секунда - и в сердце у меня шевельнулась какая-то горячая капля, еще секунда - что-то горячее вспыхнуло таким сильным и радостным пламенем, что я вздрогнул всем телом, как вздрагивают дети, когда они растут, и открыл глаза.

Сознания несчастья как не бывало; я чувствовал себя свежо и возбужденно, и все мои мысли тотчас же, как только я вздрогнул и открыл глаза, сосредоточились на одном вопросе:

- Что это такое? Откуда это счастье? Что именно мне вспомнилось? Чему я так обрадовался?

Я так был несчастлив вообще и так был несчастен в последние часы, что мне непременно нужно было восстановить это воспоминание, обрадовавшее меня во сне, мне стало страшно даже думать, что я не вспомню, что для меня опять останется все только то, что было вчера и сегодня, включительно до этого полушубка, холодной печки, неуютной комнаты и этой буквально "мертвой тишины" деревенской ночи.

Не замечая ни холода моей комнаты, ни ее неприветливости, я курил папиросу за папиросой, широко открытыми глазами всматриваясь в тьму и вызывая в моей памяти все, что в моей жизни было в этом роде.

Первое, что припомнилось мне и что чуть-чуть подходило к тому впечатлению, от которого я вздрогнул и проснулся, - странное дело! - была самая ничтожная деревенская картинка. Не ведаю почему, припомнилось мне, как я однажды, проезжая мимо сенокоса в жаркий летний день, засмотрелся на одну деревенскую бабу, которая ворошила сено; вся она, вся ее фигура с подобранной юбкой, голыми ногами, красным повойником на маковке, с этими граблями в руках, которыми она перебрасывала сухое сено справа налево, была так легка, изящна, так "жила", а не работала, жила в полной гармонии с природой, с солнцем, ветерком, с этим сеном, со всем ландшафтом, с которым были слиты и ее тело и ее душа (как я думал), что я долго-долго смотрел на нее, думал и чувствовал только одно:

"как хорошо!"

Напряженная память работала неустанно: образ бабы, отчетливый до мельчайших подробностей, мелькнул и исчез, дав дорогу другому воспоминанию и образу: нет уж ни солнца, ни света, ни аромата полей, а что-то серое, темное, и на этом фоне - фигура девушки строгого, почти монашеского типа. И эту девушку я видел также со стороны, но она оставила во мне также светлое, "радостное" впечатление потому, что та глубокая печаль - печаль о не своем горе, которая была начертана на этом лице, на каждом ее малейшем движении, была так гармонически слита с ее личной, собственной ее печалью, до такой степени эти две печали, сливаясь, делали ее одну, не давая ни малейшей возможности проникнуть в ее сердце, в ее душу, в ее мысль, даже в сон ее чему-нибудь такому, что бы могло "не подойти", нарушить гармонию самопожертвования, которое она олицетворяла, - что при одном взгляде на нее всякое "страдание" теряло свои пугающие стороны, делалось делом простым, легким, успокаивающим и, главное, живым, что вместо слов: "как страшно!" заставляло сказать: "как хорошо!"

как славно!"

Но и этот образ ушел куда-то, и долго-долго моя напряженная память ничего не могла извлечь из бесконечного сумрака моих жизненных впечатлений: но она напряженно и непрерывно работала, она металась, словно искала кого-то или что-то по каким-то темным закоулкам и переулкам, и я почувствовал наконец, что вот-вот она куда-то приведет меня, что... вот уж близко... где-то здесь... еще немножко... Что это?



Хотите - верьте, хотите - нет, но я вдруг, не успев опомниться и сообразить, очутился не в своей берлоге с полуразрушенною печью и промерзлыми углами, а ни много, ни мало - в Лувре, в той самой комнате, где стоит она, Венера Милосская... Да, вот она теперь совершенно ясно стоит передо мною, точь-в-точь такая, какою ей быть надлежит, и я теперь ясно вижу, что вот это самое и есть то, от чего я проснулся; и тогда, много лет тому назад, я также проснулся перед ней, также "хрустнул" всем своим существом, как бывает, "когда человек растет", как было и в нынешнюю ночь.

Я успокоился: больше не было в моей жизни ничего такого; ненормальное напряжение памяти прекратилось, и я спокойно стал вспоминать, как было дело.

## II

...Как давно это было! Не меньше как двенадцать лет тому назад довелось быть мне в Париже. В то время я давал уроки у Ивана Ивановича Полумракова. Летом семьдесят второго года Иван Иванович вместе с женой и детьми, а также и сестра жены Ивана Ивановича с супругом и детьми, собрались за границу. Предполагалось так, что я буду находиться при детях, а они, Полумраковы и Чистоплюевы, будут "отдыхать". Я считался у них диким нигилистом; но они охотно держали меня при детях, полагая, что нигилисты хотя и вредные люди и притом весьма ограниченного миросозерцания, тупые и узколобые, но во всяком случае "не врут", а Полумраковы и Чистоплюевы и тогда уже чувствовали, что они по отношению к наивным и простым детским вопросам поставлены в положение довольно неловкое: "врать совестно", а "правду сказать" страшно, и принуждены были поэтому на самые жгучие и важные вопросы детей отвечать какими-то фразами среднего смысла, вроде того, что "тебе это рано знать", "ты этого не поймешь", а иногда, когда уже было особенно трудно, то просто говорили: "Ах, какой ты мальчик! Ты видишь, папа занят".

Так вот и предполагалось, что я, нигилист, буду делать ихним детям "определенное", хотя и ограниченное, узколобое миросозерцание, а они, родители, будут гулять по Парижу. Но решительно не знаю, благодаря какой комбинации случилось так, что дамы и дети в сопровождении компаньонки и какого-то старого генерала очутились где-то на морском берегу, а мужья и я остались в Париже "на несколько дней". Замечательно при этом, что и дамы, уезжая, были очень со мною любезны, говорили даже, что оставляют мужей "на мое попечение". Теперь я догадываюсь, что, кажется, и у дам были относительно меня те же взгляды и те же расчеты, которые вообще исповедовали все они относительно нигилистов, то есть, что хотя и туп, и дик, и ограничен, и окурки кладу чуть не в стакан с чаем, но что все-таки мое "ограниченное" миросозерцание заставит как Ивана Ивановича, так и Николая Николаевича вести себя в моем присутствии не так уж развязно, как это, вероятно, было бы, если бы они за отъездом жен остались в Париже одни с своим широким миросозерцанием. "Все-таки они посовестятся его!" - вот, кажется, что именно думали дамы, любезно оставляя меня в Париже с своими мужьями.

Времени, отпущенного нам для отдыха, было чрезвычайно мало, а Париж так велик, огромен, разнообразен, что надобно было дорожить каждой минутой. Помню поэтому какую-то спешную ходьбу по ресторанам, по пассажам, по бульварам, театрам, загородным местам. Некоторое время - куча впечатлений, без всяких выводов, хотя на каждом шагу кто-нибудь из нас непременно произносил фразу: "А у нас, в России..."

А за этой фразой следовало всегда что-нибудь ироническое или даже нелепое, но заимствованное прямо из русской жизни.

Сравнения всегда были не в пользу отечества.

Такая невозможность разобраться в массе впечатлений осложнялась еще тем обстоятельством, что в 1872 г. Париж уже не был исключительно тем разнохарактерным "тру-ля-ля", каким привык его представлять себе русский досужий человек.





Только что кончились война и коммуна, и еще действовали военные версальские суды; за решеткой Вандомской колонны еще валялась груда мусора и камней, напоминая о ее недавнем разрушении; в зеркальных стеклах ресторанов виднелись звездообразные трещины коммунальных пуль; те же следы пуль - маленькие беленькие кружочки с ободком черной копоти - массажи пестрили фасады величественных храмов, законодательного собрания, общественных зданий; вот у статуи богини "Правосудие" неведомо куда отскочил нос, да и у "Справедливости" не совсем хорошо на правом виске, и среди всего этого - мрачные развалины Тюльери с высывающимися рыжими от огня железными жердями, стропилами. Вообще на каждом шагу видно было, что какая-то грубая, жестокая, незнакомая с перчаткою рука нанесла всему этому недавно еще раззолоченному "тру-ля-ля" оглушительную пощечину. Таким образом, хотя Париж "тру-ля-ля" и действовал уже по-прежнему, как ни в чем не бывало, но в этом действовании нельзя было не заметить какого-то усилия; пощечина ярко горела на физиономии, старавшейся быть веселой и беспечной, и сочетание разухабистых звуков возродившейся из пепла шансонетки с звуками "рррран...", раздававшимися в саторийском лагере и свидетельствовавшими о том, что там кого-то убивают, невольно примешивало к разнообразию впечатлений парижского дня неприятное, мешающее свободному их восприятию чувство стыда, даже как бы позора. Вот почему, между прочим, нам и было весьма трудно разобраться в наших впечатлениях:

набегаемся за день, наглядимся, наедемся, насмотримся, наслушаемся, еще раз и два наедемся и напьемся, а воротимся в свою гостиницу - и можем только бормотать что-то очень неопределенное, хотя и разнообразное и даже бесконечно разнообразное.

Решительно не могу припомнить, каким образом удалось нам наконец уловить одну черту, показавшуюся нам весьма существенною, отличающую "нас" от "них", и мы крепко за нее ухватились, как за путеводную нить.

Подал нам, например, слуга завтрак в загородном ресторанчике, а сам тут же, неподалеку от нас, сел читать газету, и мы, руководимые уловленною нами нитью, уже не преминем по окончании завтрака рассуждать об этом обстоятельстве таким образом:

- Да, личность-то человеческая здесь цела и сохранна!

Вот он - лакей, слуга, тарелки подает, служит из-за куска хлеба, но он - человек! Это не то что наш лакей, который даже бесплатно будет перед вами холопствовать; мало того, что будет тарелки подавать, задохнувшись от благоговения, что "едят хорошие господа", но и лицо-то сделает холопское, и будет не ходить, а бросаться с тарелками, вспотеет весь от умиления.

А это далеко не то! Он человек, его все интересует; он берет себе пять процентов с истраченного вами франка - и конец.

Нет, это не лакей!

Кокотки, бульварные дамы также оказались все до единой не только кокотками, но и человеками.

- Это не то что у нас по Невскому несется в извозчике какая-нибудь трагедия с подбитым глазом или совершенно спокойно, как мужик, во все горло выкрикивающий "сбитень хорош!", приглашает среди белого дня пойти с ней погулять, полагая, что это гулянье нечто вроде должности - недаром начальство выдало ей документ. Нет, тут не то! Тут хоть она и занимается "этими делами", но в ней жив человек; она и этими делами займется и книжку почитает. Что ж делать?

Это уж такой строй, ничего не поделаешь! Я как-то совершенно случайно (Иван Иванович сказал эти слова как-то в сторону, да и Николай Николаевич также при этих словах как будто бы покосился куда-то вниз и вбок) разговорился вот тут на бульваре с одной... - не помню уж, мороженое, что ли, ел, - так ведь это, батюшка, ум! Ведь это





живая, блестящая беседа! "Этими делами!" Эти дела - сами собой, а человек-то сознает свое человеческое достоинство! Вот в чем штука-то!

Попали мы в версальские военные суды, где в то время "разделявались с коммунарами". Разделялись с ними без всякого милосердия. В полтора часа разбиралось по пятнадцати дел, причем, что бы ни лепетал в свое оправдание подсудимый, большею частью несчастнейшего вида портной, сапожник, подмастерье, господа судьи, обнажив свои головы перед великими словами: "au nom du peuple francais"[Именем французского народа (фр.). - Ред.], упекали его в Кайену, Нумею... Камер для этих судов было настрепано пропасть; простыми досками были разгорожены огромные казарменные комнаты на четыре, на шесть клетушек, и в каждой клетушке упекали людей.

- Так ведь что ж, батюшка? Тут ведь борьба! Два порядка, два мирозозерцания стоят друг против друга. Какие же тут послабления, снисхождения?.. Чья возьмет! Это не то что у нас - упекут в Сибирь бабу, которая, не помня себя, родила и задушила ребенка, а потом сами же упекатели и собирают ей на дорогу.

И несправедливо и глупо. Нет, здесь открыто, ясно, просто - кто кого! Здесь люди, батюшка, люди, каждый шаг свой на земле отстаивающие с борьбой и кровью... Тут нет гуманной болтовни, от которой тошнит, как у нас, и которая вовсе не обеспечивает нас от того, что гуманно болтающий человек не упечет вас к черту на рога по личной злобе, ради мелкой зависти...

Нет! здесь люди - "человеки", живут и делают без фальши, а только по-человечески... Ну, а уж что делать, если человек вообще плох!

Заглянули в парламент, помещавшийся тогда там же, в Версали. И здесь все оказалось вполне по-человечески.

- Это, батюшка, не то что у нас какой-нибудь чинодрал или чинопер, безжизненнойшая, мертвая душа, строчит какието бессмысленнейшие бумаги и не задумается рассказать всякого, кто усомнится в живом значении исписанного бумажного листа. У нас бумага, чернила, сушь, а жизнь - что твой свиной хлев. Здесь совсем не то; здесь везде жизнь - и на улице и в парламенте. Какова есть, такой ее и получите. Вон, посмотрите-ка направо-то: поел, позавтракал - брюхо-то тянет на покой. А Гамбетта, поглядите-ка, по животу-то себе гладит, тоже перекусил парнишка, должно быть, плотно! Что ж? Ничего!..

Три часа - брюхо давно уж разговаривает... Отчего ж не перекусить? А галдят-то! Да все они немножечко подгуляли за завтраком... коньячишко еще не прошел... Право, ничего! Не беспокойтесь! То, что нужно для живого дела, сделают! Живое дело не велико, просто! Это у нас только "не пимши, не емши"

убиваются по целым годам, стулья кожаные просиживают до дыр, издыхают, что называется, за строченьем бумаг, а все толку нет! Нет, здесь жизнь, здесь люди, человеки; здесь, батюшка, все по-человечески! без прикрас, без фраз!

А когда мы на денек, на два попали в Лондон, так уж тут "правда" осадила нас со всех сторон, на каждом шагу, во всех видах и во всех смыслах.

В каком-то "настоящем" английском ресторане, за пять шиллингов, вместо разнообразного пятифранкового парижского обеда нам три раза кряду дали одно и то же блюдо, три раза мы могли потребовать и съесть по хорошему куску мяса какого-то дикого животного, которое в жареном виде разъезжало в каком-то экипаже на колесах по ресторану (где все посетители хранили мертвое молчание), останавливаясь там, где заметна была пустая тарелка.

- Так, именно так! - сказал восторженно Иван Иванович, когда мы действительно наелись до отвала этим блюдом и вышли на улицу. - Раз, продолжал он, - жизнь правдива, без фальши, она должна быть правдива во всем. Человек бегаёт, трудится,



работает настоящим образом от зари до зари, ему нужна настоящая пища, его незачем надувать ордеврами и разносолами. Есть, так уж есть как следует, и вот вам за пять шиллингов одно блюдо! Это великолепно!

Английская "правда" оказывалась гораздо уж выше французской, в чем мы скоро убедились самым неотразимым фактом. Надоумил нас кто-то (кажется, г-н Бедекер) съездить в Гринвич и съесть там знаменитый парламентский обед - "маленькую рыбку". Обед этот ни по своей цене, ни по своей "знаменитости", очевидно, не мог быть тем деловым обедом делового человека, который так нас восхитил своей "правдой". Это уж должно было быть что-то особенно изысканное. Каково же было наше удивление, когда и этот знаменитый обед еще раз убедил нас в том, что там, где в основании жизни лежит "правда", там для лжи, для притворства, для выдумки нет места даже в самых мельчайших проявлениях жизненного обихода. Обед состоял из множества рыбных блюд; маленькая рыбка, гужон, пескарь, фигурировала на первом плане, и блюда с маленькой рыбкой только изредка перемежались блюдом лососины или какой-нибудь другой рыбы. Но ни маленькая рыбка, ни лососина, ни какая другая из числа рыб, появлявшихся за этим обедом, не была подана в каком-нибудь таком "притворном"

и неправдивом виде, чтобы, съев ее, можно было по совести сказать: "как вкусно!" Лососина пахла лососиной, лучше сказать, тем рыбным запахом, которым пахнет бумага или рука, прикоснувшаяся к рыбе. Правдивая английская фантазия не могла сфальшивить так, как сфальшивила бы французская. Точно таким же натуральным, правдиво-рыбным запахом отдавали и все прочие посторонние кусочки посторонних рыб, появлявшиеся за обедом.

Что же касается героя обеда, "пескаря", то безукоризненно правдивая английская мысль и тут не могла подняться до шарлатанства и выдумки, и единственно на что у нее хватило смелости, так это только на то, чтобы дать одному блюду маленькой рыбки хоть какое-нибудь отличие от другого. Это отличие и было сделано помощью перца: то рыбка является обжаренною в простом перце, то в кайенском, то в легкой пропорции, то посильнее, то еще полегче или еще позабористее, причем рыбка сама собой сохранила свой натуральный рыбий запах и непременно пахла черт знает чем. После десятка таких тонких блюд, когда уже и усы, и салфетки, и платки, и руки - словом, все, что на вас и около вас, стало пахнуть рыбой и речной водой, появился последний, заключительный экземпляр маленькой рыбки, который, как оказалось впоследствии, достойно увенчал здание правдивого обеда. Эта последняя рыбка, чрезвычайно маленькая, лежала на большой белой тарелке без всяких украшений и аксессуаров, как-то одиноко и загадочно: ее маленькое тело было искривлено как бы предсмертной конвульсией, да и одиночество ее на белой тарелке было также несколько таинственно; всматриваясь в этот венец здания, я, однако, не нашел ничего особенно таинственного, за исключением каких-то крошечных красненьких пылинок, которые усеивали все ее тщедушное тело. Но когда, взяв ее за хвост, все мы открыли рты и, думая проглотить это ничтожество, беспечно понесли его куда следовало, то рты наши уже не могли закрыться; маленькая тварь вонзилась в горло, как раскаленная игла, жгла рот, гортань и, после страшных усилий проскользнув далее, обожгла все горло и, как миноноска, зашмыгала в желудке, пытаясь взорвать его в двадцати местах.

Минуты две мы отпивались от этого "кушанья" сельтерской, содовой водой и вином и, только очувствовавшись, наконец могли издавать членораздельные звуки.

- Да! - сказал Иван Иванович довольно загадочно и вновь припал к содовой воде.

- Вот черт-то! - сказал Николай Николаевич, который почему-то начал чихать и, отчихавшись, прибавил: - это уж не перец... а это что-то... бенгальский огонь какой-то... дьявол его возьми!



- Но не правда ли, до какой степени они глубоко правдивы? - сказал наконец Иван Иванович. - Ведь из этого обеда чего бы только не натворил француз? Ведь это было бы вавилонское столпотворение! А эти - нет! Не хватает на выдумку, на притворство... Дело, дело, дело! Реальная деловая мысль работает упорно, безостановочно, по вершочку идет вперед и вперед... а вот на соус, на куплет, на курбет неспособна!

Правда! правда! вот где корень всей этой жизни!

И затем по пословице: "на ловца и зверь бежит", все, что мы ни видели в Лондоне, все поражало нас со стороны неподдельной правды и полной безыскусственности.

Если попадалась нищета, так уж это была такая голь, такой ужас, такая грязь, что можно было только остановиться, остолбенеть и глядеть в истинном ужасе на безукоризненно ясное явление жизни; даже той приличной внешности, которою французская парижская нищета может прикрывать себя, покупая за три-четыре франка рубашку, блузу, шапку и туфли, и той здесь нет и помину; целые гирлянды нищих детей, целые кучи их, кучи какой-то рвани, грязи лепешками на больных лицах, грязи в лысых местах больной головы, - копошатся по нищенским переулкам. Да, это уж точно нищета! Неприкрытая! Гляди - и всю жизнь не забудешь этой "правды" теперешнего человеческого общества.

Но зато уж и богатство, так тоже настоящее богатство!

Посмотрите-ка вот на этого белотелого истукана с сигарою в углу рта, пробирающегося, вероятно, в парк на каком-то необыкновенном инструменте (нельзя сказать: "экипаже").

Истукан сидит на каком-то крошечном сиденьице, из-под которого в разные стороны вылезают какие-то стальные нити, как огромные ноги паука. Он весь на воздухе, высоко над толпой, а под ним как будто ничего нет, только блистают на солнце какие-то стальные иглы, а что это - колеса или ноги стального паука - не разберешь. Поглядите на него, и один вид, одна "порода", которая видна в нем, скажет вам, что он органически не может понять, что такое за существа копошатся у колес его паукообразного инструмента. Он органически безжалостен к нищете, к этим маленьким, заморенным, почерневшим от каменноугольного дыма человечкам.

Словом, из Лондона мы вывезли довольно ценное впечатление: "Вот она, жизнь, в основе которой лежит неприкрашенная правда человеческая! Гляди и учись!"

### III

Однако, несмотря на обилие материала, почерпнутого нами в эти дни беготни и касавшегося правды человеческих отношений, до которых успело дожить человечество, по возвращении в Париж нам стало почему-то скучно. В один серенький день, продолжая "досматривать" недосмотренное, мы лазили без малейшего удовольствия в парижских катакомбах, где множество боковых галерей было еще охраняемо стражей или загорожено цепями; это делалось для того, чтобы иностранец не наткнулся в этих запутанных галереях на трупы коммунаров, которые, говорят, бросились в катакомбы спасаться от версальцев, заблудились там и погибли в большом количестве.

Видели также и в тот же день знаменитый морг с массою трупов, положенных перед глазами зрителей весьма прилично и невозмутительно; только вот тряпье, рвань, снятая с этих мертвецов, утонувших, угоревших, застрелившихся, отравившихся, - рвань, развешанная тут же около трупов на веревочках, для того чтобы можно было узнать погибшего по платью, если нельзя было узнать по лицу, - этот хлам говорил о горькой, безысходной бедности. У одной молодой женщины подошвы ног, обращенные к публике, были сплошной мозолью - поработала бедняга на своем веку! Хотели было идти в знаменитые клоаки, но путеводитель так расписал их, что просто дух захватило: можете представить, что одних (прошу извинить за неэстетическую картину) выкидышей



человеческих, которые плавают там, в этих смрадных водах (извините, сделайте милость), он считал десятками тысяч.

Иван Иванович уж не говорил, что "а все-таки неприкрытая правда гляди, страдай и учись"; напротив, он предложил рассеяться от этих впечатлений дня - все трупы! В одних катакомбах три миллиона скелетов, в морге с десятков "свежих"

покойников да в клоаках сушили тысячи мертвецов. Следовало немножко и отдохнуть от всего этого, "человеческого", на чем-нибудь не столь мрачном. Но когда вечером мы уселись на железных стульях какого-то кафе-концерта в Елисейских полях, и когда перед нами началось веселое кривлянье (повторяю, не утратившее еще следа недавнего удара), и когда вспомнилось, что, может быть, тут же, в клоаке, проходящей под Елисейскими полями, плывут тысячи неродившихся, когда вспомнилось, что в Версали раздается еще "rrrrран..." - когда вспомнилось все это, так и совсем стало скучно.

На следующее утро я ушел из гостиницы, не дожидаясь, когда проснутся мои патроны; мне было чрезвычайно тяжело, тяжко, одиноко до последней степени, и весь я ощущал, что в результате всей виденной мною "правды" получилось ощущение какой-то холодной, облипающей тело, промозглой дряни.

Что-то горькое, что-то страшное и в то же время несомненно подлое угнетало мою душу; без цели и без малейшего определенного желания идти по той или другой улице я исходил по Парижу десятки верст,нося в своей душе этот груз горького, подлого и страшного, и совершенно неожиданно доплелся до Лувра; без малейшей нравственной потребности вошел я в сени музея; войдя в музей, я машинально ходил туда и сюда, машинально смотрел на античную скульптуру, в которой, разумеется, по моему, тяпушкинскому, положению ровно ничего не понимал, а чувствовал только усталость, шум в ушах и колотье в висках; - и вдруг, в полном недоумении, сам не зная почему, пораженный чем-то необычайным, непостижимым, остановился перед Венерой Милосской в той большой комнате, которую всякий бывший в Лувре знает и, наверное, помнит во всех подробностях.

Я стоял перед ней, смотрел на нее и непрестанно спрашивал самого себя: "что такое со мной случилось?" Я спрашивал себя об этом с первого момента, как только увидел статую, потому что с этого же момента я почувствовал, что со мной случилась большая радость... До сих пор я был похож (я так ощутил вдруг) вот на эту скомканную в руке перчатку. Похожа ли она видом на руку человеческую? Нет, это просто какой-то кожаный комок. Но вот я дунул в нее, и она стала похожа на человеческую руку. Что-то, чего я понять не мог, дунуло в глубину моего скомканного, искалеченного, измученного существа и выпрямило меня, мурашками оживающего тела пробежало там, где уже, казалось, не было чувствительности, заставило всего "хрустнуть" именно так, когда человек растет, заставило также бодро проснуться, не ощущая даже признаков недавнего сна, и наполнило расширившуюся грудь, весь выросший организм свежестью и светом.

Я в оба глаза глядел на эту каменную загадку, допытываясь, отчего это так вышло? Что это такое? Где и в чем тайна этого твердого, покойного, радостного состояния всего моего существа, неведомо как влившегося в меня? И решительно не мог ответить себе ни на один вопрос; я чувствовал, что нет на человеческом языке такого слова, которое могло бы определить животворящую тайну этого каменного существа. Но я ни минуты не сомневался в том, что сторож, толкователь луврских чудес, говорит сущую правду, утверждая, что вот на этом узеньком диванчике, обитом красным бархатом, приходил сидеть Гейне, что здесь он сидел по целым часам и плакал: это непременно должно было быть; точно так же я понял, что администрация Лувра сделала великое для всего мира дело, спрятав эту каменную загадку во время франко-прусской войны в





деревянный дубовый ящик и схоронив этот ящик в глубине непроницаемых для прусских бомб подвалов; представить себе, что какойто кусок чугуна, пущенный дураком, наевшимся гороховой колбасы, мог бы раздробить это в мелкие дребезги, мне казалось в эту минуту таким злодейством, за которое нельзя отомстить всеми жестокостями, изобретенными на свете. Разбить это! Да ведь это все равно что лишить мир солнца; тогда жить не стоит, если нельзя будет хоть раз в жизни не ощущать этого! Какие подлецы! Еле-еле домучаются до гороховой колбасы и смеют! Нет, ее нужно беречь как зеницу ока, нужно хранить каждую пылинку этого пророчества. Я не знал "почему", но я знал, что в этих витринах, хранящих обломки рук, лежат действительные сокровища; что надо во что бы то ни стало найти эти руки, что тогда будет еще лучше жить на свете, что вот тогда-то уж будет радость настоящая.

Долго ли я недоумевал над выяснением причин, так неожиданно расширивших, выпрямивших, свежестью и спокойствием наполнивших мою душу, я не помню. Появление какого-то россиянина, вся фигура которого говорила, что он уже вполне разлакомлен бульварными прелестями, а развязный взгляд этого человека, очевидно только что позавтракавшего, стал так бесцеремонно "обшаривать" мою загадку, не находя, по-видимому, ничего особенного по своей части (такие ли он уж видал виды!), заставило меня уйти из этой комнаты. Я мог оскорбиться на этого развязного человека, а мне невозможно было даже мысли допустить, чтобы в эту минуту я мог даже подумать жить чем-нибудь таким, что составляло простую житейскую необходимость той поры, то есть того времени, когда я был скомканной перчаткой. Опять позволить скомкать себя так, как это было час тому назад и всю жизнь до этого часа? Нет, нет! Я не мог даже есть, пить в этот день, до такой степени мне казалось это ненужным и обидным для того нового, которое я в себе самом бережно принес в мою комнату.

С этого дня я почувствовал не то что потребность, а прямо необходимость, неизбежность самого, так сказать, безукоризненного поведения: сказать что-нибудь не то, что должно, хотя бы даже для того, чтобы не обидеть человека, смолчать о чем-нибудь нехорошем, затаив его в себе, сказать пустую, ничего не значащую фразу, единственно из приличия, делать какое-нибудь дело, которое могло бы отозваться в моей душе малейшим стеснением или, напротив, могло малейшим образом стеснить чужую душу, теперь, с этого памятного дня, сделалось немыслимым; это значило потерять счастье ощущать себя человеком, которое мне стало знакомо и которое я не смел желать убавить даже на волосок. Дорожа моей душевной радостью, я не решался часто ходить в Лувр и шел туда только в таком случае, если чувствовал, что могу "с чистою совестью"

принять в себя животворную тайну. Обыкновенно я в такие дни просыпался рано, уходил из дому без разговоров с кем бы то ни было и входил в Лувр первым, когда еще никого там не было.

И тогда я так боялся потерять вследствие какой-нибудь случайности способность во всей полноте ощущать то, что я ощутил здесь, что я при малейшей душевной нескладнице не решался подходить к статуе близко, а придешь, заглянешь издали, увидишь, что она тут, та же самая, скажешь сам себе: "ну, слава богу, еще можно жить на белом свете!" - и уйдешь.

И все-таки я бы не мог определить, в чем заключается тайна этого художественного произведения и что именно, какие черты, какие линии животворяют, "выпрямляют" и расширяют скомканную человеческую душу. Я постоянно думал об этом и все-таки ничего не мог бы передать и высказать определенного. Не знаю, долго ли бы я протомился так, если бы одно совершенно случайное обстоятельство не вывело меня, как мне кажется, на настоящую дорогу и не дало мне наконец-таки возможности ответить себе на неразрешимый для меня вопрос: в чем тут дело, в чем тайна?





Совершенно случайно припомнилось мне старинное стихотворение в "Современнике" 55 - 56 годов; стихотворение носило название "Венера Милосская" и, кажется, принадлежит г-ну А. Фету. Когда-то я знал это стихотворение наизусть, но теперь не мог припомнить всего и вспомнил только несколько строк, не имеющих никакой друг с другом связи. Мне вспомнились такие стихи: "До чресл сияя наготой, цветет смеющееся тело неувядаемой красой..." С словом красой рифмовала совершенно одиноко возникшая в моей памяти строчка: "И млея пеною морской" или "млея негою одной". Наконец припомнилась и еще строчка: "И вся кипя (а может быть, и не так) пафосской (и это, может быть, неверно) страстью..."

Вот и все, что мне припомнилось; но то, что рисовали эти строчки "кипя страстью... смеющееся тело... млея пеною морской" или "негою одной", "цветет неувядаемой красой", - все это до такой степени было не то сравнительно с моим ощущением, что мне даже стало смешно.

В самом деле, всякий раз, когда я чувствовал неодолимую потребность "выпрямить" мою душу и идти в Лувр взглянуть, "все ли там благополучно", я никогда так ясно не понимал, как худо, плохо и горько жить человеку на белом свете сию минуту.

Никакая умная книга, живописующая современное человеческое общество, не дает мне возможности так сильно, так сжато и притом совершенно ясно понять "горе" человеческой души, "горе" всего человеческого общества, всех человеческих порядков, как один только взгляд на эту каменную загадку. Правда, я еще не могу найти связи между этой загадкой, выпрямляющей мою душу, и мыслью о том, как худо жить человеку, являющейся непосредственно вслед за ощущением, даваемым загадкой, но я положительно знаю собственным своим опытом, что в то же мгновение, когда я почувствую себя "выпрямленным", я немедленно же почему-то начинаю думать о том, как несчастлив человек, представляю себе все несчастье этой шумящей за стенами Лувра улицы и невольно, в смысле этого "человеческого горя", начинаю группировать все мною пережитое, виденное, слышанное до последней минуты сегодняшнего дня включительно, но я не ощущаю ни малейшей возможности сосредоточиться хотя на одну минуту на каких-нибудь частностях собственно женской красоты видимой мною загадки.

Просто в голову даже не приходит думать, что перед тобой что-то "по части" тела, а напротив, непостижимо, почему думаешь, например, о том, что Иван Иванович Полумраков, сказавши, что вот этот лакей, несмотря на свое лакейство, все-таки сохранил в себе человека, решительно не понимал, какую огромную подлость лепетали его уста. Как! человек - и лакей?

Человек - и принужден подавать тарелки? Это человек-то должен безмолвно исполнять ваши прихоти, чтобы получить три су на пропитание? Вот как, вдруг, переиначивалась во мне фраза Ивана Ивановича "о человеческом достоинстве", переиначивалась мгновенно, от одного только взгляда на загадку, заставлявшую ощутить радость сознания себя человеком.

Вчера я, может быть, еще мог бы радоваться вместе с Иваном Ивановичем, что вот эта уличная женщина сохраняет свое "человеческое достоинство", но сейчас я понять не могу, каким образом можно было допустить, чтобы человеческое достоинство, чтобы человек был так глубоко оскорблен.

Человека, и сметь так осрамить! Человека-то сделать таким несчастным, так его всего скомкать, испачкать грязью!..

Нет, не "правда человеческая" рисуется передо мною теперь, не "правда", до которой, по словам Ивана Ивановича, дожило человечество, а самая страшная неправда, и никогда мне так не ясна она, эта неправда, как сейчас. Униженным, осрамленным представляется мне этот человек и в виде того лондонского богача, один вид которого дал Ивану Ивановичу возможность сказать, что во всей его породе и природе нет



фальши: теперь этот породистый тип казался мне унижением человека; как можно было довести человека до такого типа, до такого душевного состояния, которое даже органически не может понимать, что такое за мразь человеческая копошится у колес его экипажа? Как можно было довести человека до типа этой мрази, этого ничтожества, обрекающего себя на каторжный труд, на голод, на грязь, на безграничное душевное отчаяние? Все это ужасная неправда для человека; во всех этих неподходящих друг к другу положениях видно только, что "человек" скомкан, изуродован, "осрамлен" в своих человеческих побуждениях; изуродован необходимостью унижать себя до раба, до торговли своим телом, до желания наложить на себя руки, до потребности прекратить чужую жизнь, убив такого же, как и сам, человека, до потребности ограбить человека, до потребности, наконец, щеголять чрезвычайной добротою. Во всем этом, то есть во всем, что только ни видит ваш глаз, все одно унижение, все попрание в человеке человека... И страшно становилось за душевную участь теперешнего человека, за искалеченное, а потому постоянно опечаленное существо его души... И обо всем этом думалось благодаря "каменной загадке", она "выпрямляла" во мне скомканную теперешнюю жизнью душу человеческую, знакомила, неведомо как и в чем, с радостью и широтою этого ощущения.

Не "смеющееся тело", и не "пена", и не "кипя", и не "сияя", - очевидно, не они выпрямляли и выпрямляют в этом художественном произведении душу человеческую; очевидно, что автор стихотворения не только не овладел всей огромностью впечатления, но даже к краешку его не прицепился, а, соблазненный, так сказать, "званием" Венеры, как бы уже не мог не воспрославить женской красоты и без малейшего основания заставил смеяться несмеющееся, млеть немлеющее и кипеть некипящее. И в самом деле, как же изобразить очарование женской красоты (ведь это Венера!), если не воспеть тела, если не разнежить им зрителя, заставив это тело млеть, заставив его волноваться страстью? Какими же чертами, какими красками описывать женскую, божественную красоту? И г-н Фет все это так точно и воспел, и все это совершенно несправедливо, то есть на воспевание только этого он не имел никакого права.

В самом деле, если говорить о женской красоте, о красоте женского тела, "неувядаемой" прелести, так ведь уж одно то, что Венера Милосская - калека безрукая, не позволяет поэту млеть и раскисать; тут же в коридоре, ведущем к Венере Милосской, вот близ тех, других "Венер", которых там так много, зритель, точно, может размышлять по части наготы тела; там женские черты выделены с большою тщательностью и лезут в глаза прежде всего; вот этим (также знаменитым) Венерам действительно под стать и млеть, и кипеть, и щеголять смеющимся телом, и глазками, и ручками, "этаким вот" пафосским манером изображающими жесты стыдливости... Там, "у тех Венер", любитель "женской прелести" найдет на что посмотреть и перед чем помлеть, а здесь? Да посмотрите, пожалуйста, на это лицо! Такие ли, по части красоты женского лица, сейчас, сию минуту, тут же рядом, в Елисейских полях, можно получить живые экземпляры? Вот тут, в Елисейских-то полях, действительно могут встретиться такие смеющиеся тела, женственность которых чувствуется зевакой даже издали, несмотря на то, что и наготы-то никакой не видно, вся она закрыта самым тщательным образом. Здесь, в парижских-то Венерах, эта часть разработана необычайно, а у этой? Посмотрите, повторяю, на этот нос, на этот лоб, на эти... право, сказать совестно, почти мужицкие завитки волос по углам лба...

Положительно сейчас, сию минуту в Париже найдутся тысячи тысяч дам, которые за пояс заткнут Венеру Милосскую по части смеющегося естества.

Мало-помалу я окончательно уверил себя, что г-н Фет без всяких резонов, а единственно только под впечатлением слова "Венера", обязывающего воспевать женскую прелесть, воспел то, что не составляет в Венере Милосской даже маленького



краешка в общей огромности впечатления, которое она производит. В самом деле, если художник хотел поразить нас красотой женского тела (которая, по словам г-на Фета, и млеет, и цветет, и смеется, и кипит страстью), зачем он завязал это тело "до чресл"? Уж коли тело, так давай его все, целиком; тут уж и пятка какая-нибудь, сияющая "неувядаемой красотой", должна потрясти простых смертных. Вот новые французские скульпторы, так те не то что "красоту", а "истину", "милосердие", "отчаяние" - все изображают в самом голом виде, без прикрышки. Прочтешь в каталоге: "Истина", а глаза-то смотрят совсем не туда... "Отчаяние"... подойдешь, поглядишь и думаешь вовсе не об "отчаянии", а о том, что "эко, мол, бабато... растянулась - словно белуга".

А тут, задавши себе задачу ослепить нас неувядаемой красотой женского тела, смеющегося, кипящего, млеющего, взять да и закутать ее чуть не всю, до самых чресл! Что же это такое?

Что руководило художником? Но это еще не все: закутав тело своего создания "до чресл", что он дал по части женской красоты - лицу, лбу, носу, выражению глаз?

И как бы вы тщательно ни разбирали этого великого создания с точки зрения "женской прелести", вы на каждом шагу будете убеждаться, что творец этого художественного произведения имел какую-то другую, высшую цель.

Да, он потому (так стало казаться мне) и закрыл свое создание до чресл, чтобы не дать зрителю права проявить привычные шаблонные мысли, ограниченные пределами шаблонных представлений о женской красоте.

Ему нужно было и людям своего времени, и всем векам, и всем народам вековечно и нерушимо запечатлеть в сердцах и умах огромную красоту человеческого существа, ознакомить человека - мужчину, женщину, ребенка, старика - с ощущением счастья быть человеком, показать всем нам и обрадовать нас видимой для всех нас возможностью быть прекрасными - вот такая огромная цель владела его душой и руководила рукой.

Он брал то, что для него было нужно, и в мужской красоте и в женской, не думая о поле, а пожалуй, даже и о возрасте, и ловя во всем этом только человеческое; из этого многообразного материала он создавал то истинное в человеке, что составляет смысл всей его работы, то, чего сейчас, сию минуту нет ни в ком, ни в чем и нигде, но что есть в то же время в каждом человеческом существе, в настоящее время похожем на скомканную перчатку, а не на распрямленную.

И мысль о том, когда, как, каким образом человеческое существо будет распрямлено до тех пределов, которые сулит каменная загадка, не разрешая вопроса, тем не менее рисует в вашем воображении бесконечные перспективы человеческого совершенствования, человеческой будущности и зарождает в сердце живую скорбь о несовершенстве теперешнего человека.

Художник создал вам образчик такого человеческого существа, которое вы, считаящий себя человеком и живя в теперешнем человеческом обществе, решительно не можете себе представить способным принять малейшее участие в том порядке жизни, до которого вы дожили. Ваше воображение отказывается представить себе это человеческое существо в каком бы то ни было из теперешних человеческих положений, не нарушая его красоты. Но так как нарушить эту красоту, скомкать ее, искалечить ее в теперешний человеческий тип - дело немыслимое, невозможное, то мысль ваша, печальась о бесконечной "юдоли" настоящего, не может не уноситься мечтою в какое-то бесконечно светлое будущее. И желание выпрямить, высвободить искалеченного теперешнего человека для этого светлого будущего, даже и очертаний уже определенных не имеющего, радостно возникает в душе.



Вот, стало быть, и я, Тяпушкин, всею моею жизнью обреченный на то, чтобы не жить личною жизнью, а исчезнуть, пропасть в каком-то не моем, но трудном деле ближнего, - был глубоко рад, что великое художественное произведение укрепляет меня в моем тогдашнем желании идти в темную массу народа. Теперь благодаря всему, чему великое художественное произведение научило меня, я знаю, что мне по моим силам и можно и должно "идти туда".

- Я пойду туда и буду стремиться к тому, чтобы начинающий жить человек-народ не позволил себя унижить до размеров той "сущей правды", которая так обрадовала Ивана Ивановича в Европе! Есть из-за чего, в самом деле, мучиться, чтобы не то что сохранить свое человеческое достоинство, будучи лакеем, банщиком, нищим, кокоткой, а чтобы унижить себя до необходимости переносить все эти уродства!

...Года через четыре я опять был в Париже и опять "жаждал"

ощутить "радость" существования, посетить Лувр, но, увы, не мог этого сделать: я уже опять был скомкан, скомкан крепкой, сильной, неумолимой рукой действительности и чувствовал, что теперь меня уж не выпрямишь... Попробовал было я пойти в Лувр, подошел даже к самым воротам, но просто совестно стало идти: "что ж я пойду понапрасну беспокоить ее? Все равно ничего не выйдет, а ее только сконфузишь!.." Постоял и пошел в русскую библиотеку упиваться газетными известиями о градобитиях и неурожаях.

А теперь вот опять - да где? в глухой, занесенной снегом деревушке, в скверной, неприветливой избе, в темноте и тоске безмолвной томительной зимней ночи - вспомнилась радостная минута и оживила. Бывают же случаи, когда оживают члены, разбитые параличом. Теперь я употреблю все старания, чтобы мне не утратить проснувшегося ощущения как можно дольше; я куплю себе фотографию, повешу ее тут на стене, и когда меня задавит, обессилит тяжкая деревенская жизнь, взгляну на нее, вспомню все, ободрюсь и... такую сделаю "овацию" волостному старшине Полуптичкину, что он у меня обеими руками начнет строчить донесения!..